

Павел Хрипко

Записки часовщика

Рассказы и очерки

Челябинск
Цицера
2008

X91

X91 **Хрипко П.Д.**
Записки часовщика. Рассказы и очерки. — Челябинск :
Цицера, 2008 — 180 с.

© Хрипко П.Д., 2008
© Семенец Е.П. оформление обложки, 2008

*Мои клиенты — народ удивительный:
разноперый и разнопузый, у каждого своя
изюминка и своя червоточинка, своя ис-
тория жизни и своя история болезни...*

*Я с удовольствием отдал бы Фукиди-
да за подлинные мемуары Аспазии или
Периклова раба.*

Проспер Мериме

*Макай свое перо в правду, ничем дру-
гим людей больше не удивишь.*

Василий Шукшин

*Песочные часы пустынь перемеряют
вечность.*

Нина Ягодинцева

От автора

«Записки» бывают разные: врачей, учителей, телеграфистов... Но ни доктор, ни педагог, ни часовой мастер в своих опусах, как правило, не углубляются в тайны профессии, а пишут всё о нем, о человечестве, прослушивая стетоскопом или рассматривая в лупу целые серии судеб, характеров, событий.

Отбирая подобное, оригинальное, замечательное автор пытался постичь душу современника, не унижая и не вознося его, стараясь показать обычную неприкрашенную жизнь, в которой мы барахтаемся, тонем и выплываем.

Ветеран Куликовской битвы

Оглаживая блестящую глянец лысину, подкатился Василич, мой ближайший сосед, работающий пенсионер, гильотинщик по профессии.

— Василич, ты че на работе головы рубишь?

— Что ты, что ты! Я только с металлом дело имею. Между прочим, редкое ремесло и: не про всякого. — Поставил поудобнее тяжелую авоську, перевёл дух, разговорился:

— С базара плетусь. Одна дамочка прямо на тротуаре расположилась, чтоб налог не платить, картошку свежую продает. В платок закуталась — глаз не видно. То ли боится загореть, то ли картошка краденая. На ведре — цена.

— Чё она у тебя варёная? — спрашиваю. Дамочка головой завертела, аж платок размотался.

— Н-не-е, — отвечает растерянно, — Не варила, я её...

— А что ж цена такая? — Она перепугалась, ценник схватила и в карман. Всю торговлю ей испортил, а она, может, ребенка в школу собирает.

А вчера в банк ходил, к кассе очередь, на улицу хвост вылез. Для ветеранов отдельно и их всего двое. А мне некогда. Собака на крыльце за перила привязана. Стал третьим. Подходит мой черед. Кассирша оглядела меня внимательно и с ехидцей:

— Вы тоже фронтовик?

— Да, — отвечаю резко, — А что есть сомнения?

— А какой же войны?

— Я ветеран Куликовской битвы, — отчеканиваю.

Она молча оформила документы, а потом и спрашивает:

— С кем бились-то?
— Да с ханом Мамаем же, — говорю.
— Хорошо сохранились, ветеран! — И даже не улыбнулась, вот выдержка!

А тут две недели за сантехниками ходил. Всё в квартире разворотили, до ума не довели и смылись, а скоро осень. Надоело мне все это, захожу в их биндюжку к начальнику. Сидят, чай пьют с вареньем, животы rassупонили.

— Взорвать вас надо, — говорю, — бездельники! По конституции за сантехников ничего не будет.

Они — опешили, молчат, видно, отвыкли от серьёзного слова.

— А ты, бригадир, — говорю, — пришли этих бедолаг ко мне. Пусть доделают. Я их вусмерть напою, налуплю и в окно выброшу. А бригадир серьёзно так спрашивает:

— Этаж-то у тебя какой?

— Третий, — говорю, — нормально упадут, там дорожка асфальтированная.

Посмеялись, а утром бригаду прислал, вмиг сделали и не каплет. — Откуда ни возьмись — Фира-курилка, бич нашей улицы: кому дров наколоть, уголь перекидать. Как всегда в мужском: ушанка, брюки, кирзачи, дыхнула перегаром:

— Сусед, умираю, дай червончик. Вчера внучку в первый класс определили... голова трещит, спасу нет.

— А ребенок тоже с вами кильдымил? — подал голос, Василич.

— Ну, что ты, мы ей «сникерс» купили.

— За пойлом, в третий подъезд пошла, — выдохнул Василич. — Я бы этих самогонщиц в котлы с кипящей смолой покидал.

С чего ты их так ненавидишь, — спрашиваю.

— Дак людей же травят, как тараканов. Алики они ж доверчивые, как дети малые. Что им нальют, то они и пьют. А там же столько намешано: и кислоты разные, и старые таблетки, известка, даже помёт куриный для крепости кладут... А спирт только для запаха. Выпил и сразу одурел. А они довольные, мол, крепкое, как ямайский ром. А оно даже не горит. Сунешь спичку — гаснет. Дерьмо продают, да ещё как

наживаются. И работают, при этом, круглосуточно! Ночь — полночь, только в окошечко торкнись, фортка внизу открывается, специально сделано, чтоб стакан прошел. Налиют хоть за рубли, хоть за баксы, хоть и за тенге. И без чаевых — сдача до копейки. Культурное обслуживание, безо всякого чванства.

— А как ты думаешь, менты не в курсе? — боязливо озираясь по сторонам, спрашивает подошедший низкорослый мужчина в сером пиджаке и домашних тапочках.

— Ну а как же, работа у них такая, обязаны знать, — важничает осчастливленный вниманием Василич.

— Знать-то знают, да толку, — язвит милостивая, с иконным ликом пенсионерка Мария, терпеливо ждущая очереди. — Ходила я к участковому. Когда, говорю, этих «самоваров» разгоните, житья от них не стало, у меня, эвон, сын из Чечни пришел и тоже к ним забегивает. «Да мы их постоянно гоняем, — говорит, — вчера были у них с обыском. Все наземь вылили, ничего не оставили. — Ну и толку, они сегодня опять нагнали».

— А их невыгодно под корень сечь, — вставляет осмелевший мужичок в пиджаке, — они ж как коровки, доятся.

— И, ведь, сколько народу пропадает, — гнет своё Мария, — у нас в посёлке от питух уже деваться некуда.

— Да их и в городе хватает, — подает свой зычный голос Василич, — фатеру пропьет и в племя черномазых командчей. Так и перебивается, пока мослы не отбросит. Летом где придется, а зимой в колодцах спасаются, у труб греются, одна даже родила там, в катакомбах.

— В такой грязи? — В ужасе поднимает руки Мария.

— Природой приспособлено, — давит авторитетом Василич, — хучь где родит, если срок вышел. Конечно, условия не ахти. Почему, думаешь, у них морды, как у негров? Месяцами же не умываются, без воды живут. Жди, пока лед на речке растает.

— Так они и летом такие же чумазые, — ввертывает пенсионерка.

— Ну не все, не все, — противится Василич, — ваши-то деревенские питухи супротив городских — помещики. У каждого дом, земля.

— Только вот поместья их никудышные, — грустно улыбается Мария, — они даже картошку не садят. В хатенках не прибираются, зайти срам. И хоть бы хны. На работу не заманишь. Некому в поле выйти. Уже китайцев пачками выписываем, стыдобища. Они нам нос утирают да и присматриваются, примеряются... Что же дальше-то с Россией станет.

— А как ты думаешь, Василич, самогонку в Америке гонят? — перебивает Марию вконец осмелевший мужик в домашних тапочках.

— Вряд ли. У них же фруктов полно и банан там дешевый. Так гамыру какую-нибудь квасят, наш-то позабористей, — рассуждает Василич.

— Там и участковые, поди, есть? — допытывается пиджак.

— Ну, а как же, — взвизгивает многознающий собеседник, — их там «копами» кличут. Весь квартал у него на крючке: где хата блатная, где наркота, девочки. Это ж международная практика.

— Ну ты, Василич, будто токо из Америки, — задирается собеседник.

— На какие шиши? Свояк мне недавно обсказывал, сын его, студент, из Штатов возвернулся, зеленых подзаработал, еще и в языке поднаторел. Мы-то в студентах вагоны с цементом разгружали, а они теперь в Америку шмаляют.

Поперва грузчиком у одной капризной старушенции пристроился, потом водилой. Устроился гидом, на Великих озерах, им же американцам, их историю рассказывал. Несколько тысяч баксов накопил, дело в гору пошло, да попался на глаза русской мафии. Она и: там процветает. Очень серьезные ребята. Узнали, что он с химического факультета. Назначили ему встречу, наркоту, мол, будешь для нас делать, озолотишься. Ну он поскорее манатки собрал да и к мамке в Россию. Приехал разодетый, как герцог, да еще и подарков всем навез. А на полисменов у него зуб. Нюх на иностранцев, говорит, имеют, к любой мелочи придираются. Допустим, увидит тебя на улице с бутылкой, пристанет, не отвяжешься, как липку обдерет. А тут же рядом наркоман

колется, так «коп» не только отвернется, но еще и на другую сторону улицы перейдет.

И, знаешь, что сказал этот студент по приезду: «Лучшие в мире полицейские — это русские милиционеры». — А ты говоришь «минты».

Вдруг сзади что-то закрипело, все обернулись. На стонущем под тяжестью ездока велосипеде с вихляющими колёсами подкатил грузный человек в тубетейке.

— Что за сборище, не пойму. То ли базар, то ли собрание уличного комитета, — раскатился нутряным басом велосипедист, прищуривая и без того узкие азиатские гляделки. — Слыхали, на Слободке магазин открылся клевый. Всё, что хочешь и задешево.

— Китайские товары, поди, — засомневался Василич.

— Не-ет. Все самого лучшего европейского качества, но продается по удостоверению ветерана Куликовской битвы.

— Ничего себе загнули, — перекрывая общий смех, хочется — Василич, — почитай лет шестьсот прошелестело. Любая бумажка сопреет. Где ж ты достанешь такой документ?

— Вот и я спросил у продавца, — хитро улыбается владелец тубетейки, — а они отвечают: «Как достать мы не знаем, но татары где-то находят».

Чудные дровосеки

*Бойся лошади сзади, коровы спереди,
а дурака со всех сторон.*

Работал тогда я в сельской школе, вёл шесть предметов кряду, но не потому, что был семи пятей во лбу, а просто некому было давать уроки: присланные из города волонтеры, отмаявшись год-два, обычно исчезали бесследно, так как даже за хлебом надо было ездить за десять верст.

Мне же повезло. Старая казачка, у которой я снимал горенку, хоть и была строга до крайности, заботилась обо мне, как о сыне.

Однажды моя хозяйка решила сына навестить, жившего на Кавказе, а перед отъездом распорядилась: за цыпушками доглядывать, собаку кормить, зря свет не жечь, да пуще глава беречь штабель строевого леса во дворе у дома, десятка полтора брёвен. Каждый год намеревалась делать большой ремонт.

Лишенный назойливой опеки, я враз почувствовал себя узником, выпущенным на волю, без цепей, решёток и надзирателей. Не теряя времени достал самоучитель, развернул баян и предался своей запретительной страсти. Всегда приходилось прятаться в бане, чтобы разучить пару вещей. Старушка не терпела звуков баяна, считая их бесовским наваждением. И только дворовый пес, кудлатый Шарик, обожал мои занятия. Осторожно гремя цепью, он взбирался на крыльцо, ложился на живот, клал морду на лапы и не спуская с меня глаз, восторженно слушал пили-

канья, изредка поднимал голову и подвывал в нужных ему местах.

Но не успел я разобрать и первую строчку, как звякнула калитка, Шарик спрыгнул с крыльца и, натягивая цепь, помчался к выходу. У ворот, переминаясь в нерешительности, стояли три присаженных мужлана в непривычном для деревни одеянии: синих выцветших пижамах, шароварах на резинке и в домашних тапочках без задников, но зато с загнутыми, как у джинов, носами, у одного в руках пила двуручная дугой согнута над головой, у другого — топор, третий вроде старшего — без ничего, просит внимания, переговоры затевает.

— Эй ты, собаку убери! Дрова будем пилить! — скрипит он, не спрашивая, а утверждая.

— Да нечего у нас пилить, — говорю, — проваливайте отседова.

— Как нечего, а вот эти, у дома. Сухие; без сучков, классно пилится будут!

— Не дрова это вовсе, а строевой материал, — трясусь от ужаса, помня бабкин наказ.

— Да какая нам разница, мы ж недорого. Пузырь и кусок сала, всё! — Наступает старшой.

— Вы что по-русски не бельмеса? Так я научу!

— Ну мы же распилим и расколем, и в поленицу сложим, и почти задаром, таких дураков, как мы не найдёшь, — увертливает средний.

— Мужики, — начинаю я горячиться, — мне дрова осенью привезут, тогда и договоримся.

— Осенью холодно и грязно, в тапочках не пройдёшь, а сапог на складе нету, — пищит тот, что с пилой. Что за люди, теряюсь я в догадках, пришельцы какие-то и одеты не по-нашему.

— Убери ты своего кобеля, — верещит средний, — кушит еще! Давай будем пилить! Не то окошки повышибаем и тебя моём тронуть, — и перекидывает топор из левой руки в правую.

Видя, что переговоры зашли в тупик, перехожу к действиям. Подхожу к Шарикку, делая вид, что расстегиваю ошейник и кричу:

— Ну, держитесь, пижоны, он вас на куски порвет! Настырные дровосеки все враз кидаются к калитке, застревают в ней, выгибая железные столбы и колотя друг друга, вываливаются на улицу, захлопывают дверцу и долго ещё ругаются по ту сторону ворот.

А минут через десять и в соседнем дворе раздается шум, крики, топот. Выхожу на улицу, у ворот своего дома Колька Надьсь в майке, одна нога в галоше, другая — в валенке, кочергу держит наперехват, как древний стражник алебарду. Подошел, попросил закурить и, не выпуская из рук своего оружия, доложил:

— Сижу у печки, валенки подшиваю, женка пирожки печет. Заходят три придурка и ко мне.

— Плати за работу!

— Я: «За какую ещё работу?»

— А мы вчерась дрова у тебя пилили, длинная такая деревина, ох и намучились, а тебя дома не было.

— Е-моё, — так вот кто телеграфный столб испилил, а я хотел теще свет в бане провести. Что ж вы наделали, чувахлаи неотесанные.

— А мы, — говорят, не виноваты, нам мужик приказал. Он на лавке сидел супротив твоего дома. Гони трояк, нам ждать некогда, а то поколотим.

Ну я долго не думая, схватил кочергу из печки да за ними. Жаль, не догнал. Только у одного штаны прожег. Больше не придут. И к тебе приходили? — посочувствовал он. — Тут дурдом в селе Голое, кормят скудно, вот они и подзашибают. — И, понизив голос, добавил, — а столбец мой они по указанию Гаврил Меркулича, шабра дорогого, распилили, отомстил. Мой кот двух цыпушек у него, надьсь, придушил. Теперь в расчете.

Песенка герцога

С самого утра в голове ювелира Перетятько вертелась мелодия «Сердце красавиц склонно к измене...» Этот надоедливый шлягер преследовал его уже второй месяц, вытесняя все мысли, не давая сосредоточиться. Гриша Перетятько, как истый хохол, был общительным, с любого дела умел извлечь навар, в его руках оживала гитара, а надтреснутый тенор брал женские сердца без боя.

От сидячей работы с годами располнел, стал грузным, но несмотря на внушительный живот, почти полное отсутствие шеи и багровое лицо с фиолетовым носом, продолжал верить в свою неотразимость. Его супруга уже не имела иллюзий насчет своей и мужниной привлекательности.

Везла привычный груз хозяйских забот, тяжелых авосек, вкусно и сытно готовила, как бы рано муж ни уходил, завтрак был на столе. Она обожала суженого за напористость, умение в любой ситуации оставаться на высоте.

Однако последняя поездка Григория «на юга» резко изменила их отношения. Ювелир ежегодно роскошествовал на курортах (средства позволяли) по безупречно отрепетированному сценарию: *«Преуспевающий холостяк-ювелир приехал отдохнуть и поджениться...»*

Обычно от поклонниц не было отбоя. А тут...

То ли бес попутал, то ли стареть начал, то ли очередная его пассия сыграла чересчур влюбленную дурочку, он так вошел в роль, что выболтал свой домашний адрес и сразу же забыл об этом.

Курортная субретка прислала письмо, изобилующее такими интимными подробностями, что и бывалый человек мог покачать головой и завистливо крикнуть... Письмецо получила и по простоте душевной прочитала жена... Что было потом, Перетятыко до сих пор боится вспоминать. Время залечило физические травмы, но уважение супруги он так и не заслужил.

Грустные мысли мастера нарушила стайка молоденьких длинноногих продавщиц из магазина «Подарки». Одна из них вдруг опалила его затяжным взглядом, обожгла ослепительной улыбкой и убежала...

Чтобы увидеть в окне свое отражение, он резко повернул голову и скривился от боли: стеохандроз проклятый, но кроме своей физиономии, искаженной треснувшим стеклом и предательской лысины ничего не заметил. Девичья улыбка взбудоражила сердце стареющего ловеласа. Он мечтательно зачесывал лысину остатками «шевелюры», скрупулезно подбирал галстуки, полировал штиблеты... При новой встрече повторилось то же самое: влажный царапающий взгляд, улыбка стала еще ослепительнее и при этом нечто похожее на кивок...

В сознании ювелира закружились невообразимые сюжеты...

Он вновь почувствовал себя донжуаном, неутомимым Казановой, способным на романтические подвиги.

На третий день ОНА САМА зашла в мастерскую, восхитительно улыбнулась и подала сломанную золотую сережку. Григорий вскочил, ненатурально засуетился, уронил стул, взял даже её за руку, как будто для поцелуя, но почувствовал, что еще не время...

Отложив срочные заказы, принялся за починку. Давно он не работал с такой тщательностью и старанием, как теперь. Сердце его то, как у молодого, билось сильными толчками, то млело и куда-то проваливалось, грозя остановиться.

Наконец, работа была закончена. Он протянул сережку с самой, как ему казалась, обворожительной улыбкой. Прелестница благодарно улыбнулась, сделала книксен и упорхнула, не рассчитавшись.

На следующий день она шла навстречу по тротуару. Сердце Григория зачастило, по всему телу мгновенно разлилась горячая пьянящая волна, он ждал чего-то необычного, сногсшибательного, но девица кинула на него стеклянный безразличный взгляд, как если бы на растущую у забора лебеду и прошмыгнула не задерживаясь. В голове ювелира опять назойливо заверещала песенка Герцога из оперы Верди «Риголетто»: «Сердце красавиц склонно к измене, и к перемене, как ветер мая...»

Он ринулся в «Подарки» — у прилавка одна из продавщиц, — криво усмехнувшись и ничего не спрашивая, обернулась к ширме, закрывающей вход в подсобку: «Г-у-уляя, — свистящим шепотом, отчетливо слышным в пустом зале, — К тебе, блин, этот плешивый козел...» «Пошли его куда-нибудь подальше...» — прозвенел хрустальный голосок.

Ювелир Григорий Перетяцько, как ошпаренный, выскочил на улицу, думая про себя: «А ведь в опере было все наоборот... Вот времена, блин...»

Склероз

Вхожу как-то в поликлинику и слышу в дверях радостное:

— Гриша, здорово!

Оборачиваюсь, сзади никого. Даже за деревьями людей не видно. Значит, Гриша — это я Ладно, думаю, побуду Гришей, не буду человеку настроение портить. Поздоровался. Крупный мужчина со щекастым, цвета кирпича, лицом.

— Ты чего здесь? — спрашиваю.

— Дак с головой что-то, — отвечает. — Памяти совсем не стало. Вот сейчас назвали номер кабинета и врача, а я вышел и сразу за был. Куда идти не знаю.

— Хм, так вернись и переспроси.

— Да неудобно как-то.

— Чего ж тут неудобного? Скажи, мол, так и так.

Сам думаю, с такой просторной будкой, а ведет себя, как застенчивый меланхолик, ерунда какая-то.

— Ругаются они, милицией грозятся, — жалуется он.

— Им что, сказать трудно?

— Да, может, и не трудно, — тянет собеседник, — вишь ли, они мне уже пятнадцать раз говорили. Вот склероз проклятый!

Пипочка

Окно мастерской заслонил огромного роста черноволосый детина. В ладонях его — совковых лопатах — блестят кварцевые часы ещё первого выпуска. Громовой его голос, от которого вибрируют стёкла перекрывает все шумы улицы:

— Сделай мне головку заводить! — рокошет клиент.

По неуправляемому раскатистому баритону, по оттопыренным ушам и скошеному лбу можно было догадаться, с кем имеешь дело, но мастер этого не видел и тихо проникновенно стал объяснять:

— Они у тебя на батарееке, заводить их не нужно, сами ходят.

— Да сделай мне рукоятку, заводилку, — машет рукой верзила, перебивая часовщика, — а то я кручу, кручу, а они не заводятся!

Мастер, удивляясь, что его не понимают, теряя терпение, повторяет громче:

— Не надо их заводить, они ходят от ба-та-рей-ки!

— Чё ты там бормочешь? Не можешь чё ли сделать? Я ж заплачу, хорошо заплачу!

Часовщик, решив, что настырный клиент туговат на уши, повышает голос до предела:

— Их не надо заводить! Электроника! Питание от аккумулятора! Твои часы исправны!

Заказчик от изумления вытаращивает глаза и открывает рот.

— Чё ты кричишь? — понижает он голос, придя в себя, — у меня аж уши заложило. Я ж прошу тебя только пипочку сделать, головку заводить.

— Ну не делаю я электронные часы, — взмолился мастер, чуть не плача, — не умею!

— А так у тебя головки нет. Ну так бы сразу и сказал, чё орать-то.

Глухонемые дети лейтенанта Шмидта

Наше двадцать первое столетие или стозимие ославлено ошеломляющими достижениями цивилизации. Один Интернет чего стоит... Но некоторые подленькие качества тащатся за нами со времен Герострата.

К окошечку мастерской приникает справный мужичина, щеки — цвета перестоялой малины, чуть ли не на плечах. Раньше говорили: «Такой мордуленцией поросят бить». Тяжелый гипнотизирующий взгляд из-под набрякших сизых век. Смотрит, не мигая: то ли изучает, то ли просит, то ли внушает, то ли угрожает, а может и все вместе.

Надоело мне играть в переглядки, спрашиваю:

— Какие проблемы, земляк?

Вместо ответа он вынимает из-за пазухи клочок бумаги и сует мне. Читаю накарябанное полупе чатными закорючками без знаков препинания: «Я глуханимой инвалит можна мне атримантирават чисы бисплатна».

Во мне что-то взрывается, выпаливаю, не думая:

— Вконец обнаглели! Уже бригадами ходят!

С утра это уже четвертый немой. Первой явилась женщина. Ну она была, натуральная немая. Убедительно руками жестикулировала и мычала вполне правдоподобно. Я ей за полцены сделал. Потом подошли два глистоватых субъекта в кожанках, а с ними две фифочки на шпильках и с птичьими голосами:

— Вы уж им сделайте со скидкой. Они глухонемые и живут впроголодь...

А у одного-то из кармана билет студенческий возьми да и выгляни. Спрашиваю:

— Что теперь в ветакадемии и глухонемые обучаются?

Они все враз прыскают от давно сдерживаемого смеха, визгливо хохочут и разбегаются.

Уставился я на очередного глухонемого и спрашиваю вполголоса:

— Выпить хочешь? Спирт есть. «Рек-ти-фи-кат...

— Д-д-а-вай! — Выпаливает внезапно «немой» и даже шапку снимает от нетерпения.

Брат жены

Он появился внезапно. Вертлявый, как воробей, когда ворует из собачьей миски. Разговаривая со мной, он каждую секунду дергал головой то вправо, то влево: погони ли боялся, слезки, тик ли шейный его мучил, то ли какую специальную гимнастику от остеохондроза исполнял...

— У тебя весы есть? — начал он, не глядя в глаза.

— Смотря для чего, — отвечаю.

— Золото взвесить...

— Пуда два, поди?

— Что ты, — склабится он, — гораздо меньше.

— Безмен подойдет?

Не устаивая меня ответом, помолчал, повертел головой, зачем-то понюхал воздух и сменил тему:

— Хочешь я тебе анекдот про часы расскажу?

— Скабрезный? Не надо.

— Не-е, на смекалку, еврейский.

— Ну, валяй.

«В Одессе у одного мужика часы сломались. Пошел он искать мастерскую. Видит в окне часы висят, подумал, что реклама, зашёл.

— Нет, говорят, мы здесь только обрезание делаем.

— А зачем часы повесили? — спрашивает мужик.

— А что здесь, по-твоему, должно висеть?»

— Так это ж не про часы, — возмущаюсь я.

— Ну вот, не угодил, — хмыкает он и подает раскуроченную «Ракету» с разбитым стеклом. Зная, что ремонт дорог, вдруг спрашивает.

- Ты Мишку, соседа, знаешь?
- Ну как же не знать, большой человек, Бетховена на баяне играет.
- Так я... брат его. Сделай на халяву.
- А вроде... один он у матери был, — недоумеваю я.
- Жены его... брат, — поправляется он.
- Так он же... помер года два назад.
- Видишь ли... я брат первой его жены, — неуверенно роняет халявщик, глядя куда-то вбок, нервно барабани пальцами.
- Ну ты загнул, — возмущаюсь я, — Да вон и сам Миша идет, сейчас разберемся...
- Некогда мне, — вдруг заторопился он, — потом зайду.

Мишин душ

Подошел Миша, шутник и балагур, с бородкой и усами точь-в-точь, как у первого Ильича. Рост, фигура, нос, разрез глаз и даже корни у него были чувашские... Зная о своем сходстве с вождём и втайне гордясь этим, он порой в компании становился на возвышение, вскидывал правую руку с вытянутой ладонью, левую — глубоко в карман и произносил, картавя, несколько фраз. Сходство было поразительным.

— Наталья с душем заманала, — начал он с ходу, без приветствий, сетуя на свою супругу. «Не мужик что ли, — говорит, — душ, поди, сможешь сделать? Сполоснуться после огорода...» — Ну я же не строитель, сам понимаешь, — хрустит он чуткими пальцами профессионального музыканта. — Шиферину к забору приставил, получилась загородка. Сверху доски пробросил, на них ванну поставил, налил воды и шланг туда спустил. А чтоб он не выпадывал, я к нему кирпич присобачил. На себе опробовал — работает. Зову Наталью: «Прими работу, — говорю. Она обрадовалась, разделась, приняла стойку, а вода не бежит. Забеспокоилась: «Как же обливаться? Краник-то где? — «Да зачем тебе краник? — говорю. — Возьми конец шланга в рот, сосни пару раз, как шофера делают, чтоб бензину достать, на голову вода и побежит...»

Тут моя Наталья почему-то сильно осерчала да в сердцах как дёрнет за шланг и вырвала его из ванны вместе с привязанным кирпичом. Ладно, хоть в голову не угодила, рядом стоял... «Иди ты, — говорит, — туда, на чем сидят... со своим шлангом!»

Шибко разволновалась, давно я её такой не видел. Последний раз она так волновалась, когда мы со свояком Пасху с Уразой праздновали. Он — Пасху, я — Уразу... Домой на рогах приканали... Расстроилась... Ладно, хоть погода испортилась, дождь пошел и холодно стало. А вдруг опять жара будет! Снова придется душем заниматься...

Коза и бананы

После бани кого на пиво тянет, а меня на сладкое. Решил бананов купить.

Приличный супермаркет: все блестит и мигает, новогодними огнями переливается. За прилавком стройная, интеллигентная мадемуазель (очки в золоченой оправе) бросила на весы тройку этих заморских желтопузых «огурцов», что вдвое дешевле наших зимних, и уткнулась в калькулятор, считает.

А там ровно полкило — ребенку понятно, что сорок пополам — двадцать. Я ей два пальца показываю, она не реагирует, по машинке стучит, головой трясет, ничего понять не может, видно, заело что-то.

А сзади очередь нанизывается, как окуни на кукан, и потихоньку бесится начинает: старого-то года мало осталось, всем страшно некогда. Меня тоже током подергивает, потихоньку подсказываю, мол, ровно два червонца, че зря считать-то. А она:

— Да погодите вы, не мешайте, надоели уже! — и опять считает.

С хвоста очереди делегат продирается, внушительный, в кожане, с заплывшими, как у Ельцина гляделками, и на меня:

— Че ты, понимать, людей задерживашь? Всем некогда., а он стоит, понимаешь, антимионии разводит!

— Какие такие антимионии? — спрашиваю. — За полкило — двадцатка, козе же понятно, — громко так говорю, чтоб всем слышно было.

Сзади загудели, задвигались и образовалось сразу два фронта: одни свои счетчики из заглашников достали, считать кинулись, другие — за козу обиделись. Слух пошел, будто я продавщицу козой обзвал.

Что тут началось — шум, крик:

— За козла мужики морду бьют, а мы что, хуже? За козу-то зенки выцарапаем, так разрисуем — жена не узнает! Побьют, думаю, или исцарапают, народ ныне психованный. Стоит ли из-за каких-то недозрелых бананов праздник себе портить? Выкарабкался я из очереди, купил свининки копченой, баночку огурцов открыл и так хорошо год Кабанчика встретили вдвоем... Я перед зеркалом сел, чтоб не так грустно было.

Сексот

Пасмурная погода притягивает пасмурное настроение, но работать надо. Подошла бабка, сухонькая, с бородавкой. На бородавке три длинных волосины, оттого выдающийся подбородок кажется ещё длиннее — чисто Баба-Яга. Слегка откашлялась и умильно заглядывая мастеру в глаза, замурлыкала:

— Уж не откажите, сделайте будильничек побыстрее, мил человек. Я тут на ящике посижу, подожду. Стоять долго, ить, не могу, ноги мозжат.

Поглядел мастер на бабулю — старая, может и родных не осталось. Кто её пожалеет? Отложил срочный заказ и, рискуя получить неприятности, сделал ей ремонт без очереди.

Взяла старушка свой «Севани» молча, без слов благодарности, долго вертела его в руках, крутила стрелки, не обращая внимания на окружающих, надоедливо трещала звонком, внимательно слушала ход. Внезапно изменившимся голосом строго спросила:

— Ну как, хорошо отремонтировал? Жаловаться не придется? Я, ить, на фронте в НКВД работала!

Отошла, через минуту вернулась:

— А все ж дай-ка, телефон своего начальника, авось жаловаться придется...

Через два дня бабуля явилась снова:

— Ты что ж это сотворил, мил человек. Они теперь ходят без останову. Я две ночи не спала, ждала пока остановятся, а они ходят и ходят. Ну сколько ж я могу не спать, извелась вся, чай не молоденькая!

— И ведь точно ходят, минута в минуту, — улыбается мастер. — Бабушка! У вас ноги не мозжат?

— Не до ног таперче. Мне тебя надо, супостата, достать да на чистую воду вывести!

Фира

Жизнь у всех одна, но такая разная. При рождении нарекли её редким именем Глафира, но «Гла» затерялось с матерью в деревне, а в городе она стала просто Фирой. Сегодня она принесла фигурный брус с вырезанным от руки круглым отверстием посередине. По краям выжженные цифры.

— Любимые моей матери часы были, может, подберёшь механизм, сусед, -изрекла она с важным видом.

— Тут же одна деревяшка, не лучше ли новые купить, — возражаю я.

— Нет, ей эти нужны, корпус-то старший сын вырезал из спинки деревянной кровати, на которой все мы родились.

— Ну и где ж этот брат? Пусть и восстановит часы, раз они вам так дороги.

— Он бы сделал, на все руки мастер, да, тю-тю, нет его близко-то, восьмой год сидит и не скоро ещё выйдет. Вот мать и боится, что не дождётся его.

Заказ канительный. Другого бы послал подальше, но Фире не откажешь. Ей сорок с не большим, личность оригинальная. Всегда ходит в мужском: брюки, куртка, шапка-ушанка, даже сапоги. Курит, выпивает помаленьку, живёт с подружкой, у той девочка. Пропащие люди, ютятся в коммуналке, собирают бутылки, иногда что-то перепродают, тем и кормятся. Раньше Фира слесарем-сборщиком на заводе работала, там только сильные мужики и выдерживали. Да прикрыли цех на время, а потом стали набирать молодых да грамотных. И осталась она не у дел, то в полomoйки, то в дворники, так и покатилась житуха её каламутная. Однажды пьяный

мужик попытался насиловать Фиру, да оплошал, ему долго потом вправляли глаз и носопырку пришивали. Пострадавший владелец носа в суд подал, но её оправдали да ещё и моральный ущерб возместили за счет обидчика.

Казалось бы при таком пропащем скудном существовании должны погаснуть все добродетели и таланты. Ан нет. Фира заправски рисует, особенно ей удаётся живописать по стеклу.

— Божьи картинки богомольным старушкам дарю, они балдеют, — простодушно откровенничает богомазица. Она фанатически не может числиться должником. Случается, берёт займы пару рублей, на хлеб не хватает, отдает до копейки и никогда не забывает.

А тут представилась оказия. Многолетняя шебутная семья, наслушавшись рассказней о прелестях городской жизни, решила меняться на город. Подвернулась Фира, возмечтавшая со своей кодлой переместиться в деревню.

— Свежий воздух, овощи, по ягоды будем ходить, кур разведём, индюшек, у них такое нежное мясо. Грибов засушим. А рядом, вместо осточертевших наглых рож, приветливые новые лица.

Поменялись «баш на баш», без доплаты. Переехали. Но если у Фиры был полный грузовик мебели: продавленный диван, облезлый шифоньер, два расшатанных стула, трехногая тумбочка и четыре крепких табуретки, то у противоположной стороны, кроме узлов и пяти ребятишек ничего. Корову свою они сразу же прирезали, в городе-то её кормить нечем. Но прожив пару недель и доев корову, бывшие селяне сильно разочаровались в городской жизни: много шума, везде народ, а займы никто не дает...

Вернулись на попутке, оккупировали свою развалюху и выгнали Фиру с компанией без всяких церемоний.

Возвратилась Фира в город хуже погорелицы: мебель перевезти не на что... Пока уговаривали одного шоферюгу съездить, пока рубли ему на пузырь собирали, там уже ни дивана, ни шифоньера — одну табуретку привезли да тумбочку трехногую.

Теперь вот забота: по гаражам ходят, мебель выброшенную выклянчивают. Жизнь она без трудностей ну никак не обходится?

Нездешний

Вразвалку, походкой не служившего в армии человека, к мастерской подшмыгивает Мурадян, своего рода копченый свиной окорок в пиджаке и с усами в пол-лица, другая половина — нос. Давний, замучивший меня клиент.

— Как дэла? — важно спрашивает.

— Мучаемся помаленьку, — отвечаю. — Ты зачем же, орясина стоеросовая, опять в часы лазил?

— Что ты, дарагой, я толка крышку атвынтыл, нычэго нэ дэлал, — моргает он виновато ресницами-вениками, — толка скораст пэрэдвыгал гвоздыком.

— А ты знаешь, что все гвозди в России магнитные?

— Ва-а-й, откуда мне знать, я из Армэнии приехал.

Почему я уважаю негров

Хронофаги — пожиратели времени.

— Я опять к тебе. Надоел, чать? Опять ушли на семнадцать секунд за неделю. Не везет мне в жизни, — жалуется страж заводской проходной, что напротив моей будки. Он в туго обтягивающем плаще шестидесятого размера, пятого роста. — Что ни куплю, всё с браком: часы спешат, холодильник гудит, в телевизоре полосы... Корову купил — яловая. Даже на бабу не повезло: все читает и читает... Что она там интересного нашла? Кашу овсяную сварит и опять читает, — щурит он прозрачные нагловатые буркала. — Ну не буду тебя отвлекать, ты же работаешь... Э, а ты вчера хоккеем смотрел? Что было... драчка, буллиты, — и еще полчаса никчемных разговоров.

Выболтавшись, он опять повторил свое заклинание:

— Ну, я пойду, а то тебе мешаю, да: и меня люди ждут, а вдруг ещё начальство позвонит.

Он помолчал, почесал в ухе, зевая, посмотрел по сторонам:

— Слушай, а давай с тобой дружить, мы ж оба пенсионеры.

— Несбыточное дело, — отвечаю, — ничего у нас не получится, — мучительно думая: «Как отвязаться, мешает же работать.

— Почему несбыточно?

— Так у нас разные взгляды на жизнь.

— Да ну!

- Вот тебе и ну. Как ты относишься к неграм?
- Да никак, я их брезгую.
- Ну вот, вот, а я перед ними преклоняюсь.
- Как, а ну расскажи.
- Ты был когда-нибудь в Африке?
- Не, — застывает он с разинутым ртом.
- Представь. Непроходимые джунгли, жара, как в парной, болотный смрад, крокодилы, змеи, ядовитые растения, тучи комаров, тарантулы и муха це-це, а они... голые!
- В набедренных повязках всё же...
- Ну, кто побогаче.
- Да-а-а-а, — озадаченно крутит он головой и, наконец, уходит на свой ответственный пост. Сиделец!

Рекордсмен

Бизнес — дело каламаторное и хлопотное, постоянства требует. Все одно, что на велосипеде едешь. Пока педали крутишь — движешься, остановился — упал.

Предприниматель один, клиент мой, часами приторговывает. Бывший спортсмен, многоборец, волевой мужик. Сдал мне однажды в ремонт два десятка китайского хлама и не идет, а уж третий месяц запендюривает.

Может, думаю, за границу подался отдохнуть. Эмираты там, Испания, Канары какие-нибудь. Иль прищучил кто: налоговая, а может рэкетеры. Везде ж платить надо вовремя.

А вчера вдруг заявляется. Припухший и, как всегда, под бдительной опекой.

— Прости великодушно, — говорит, — раньше не мог. Причина уважительная, — хохочет, — рекорд ставил. Как начал отмечать праздник Первое мая, так и остановиться не смог. Очнулся, а уж на дворе июль траву сушит.

А меня-то ранее всё мучило: чего ж это он, думаю, под охраной всюду фланирует. То ли уж такой крупный денежный мешок, то ли на «счетчике» у кого. А оказалось, этот охранник, амбал крутобокий, брат его жены, спасал свояка от губительного соблазна. Видно самое трудное — себя победить.

Часовая терапия

*Ничто не принадлежит нам: только
ВРЕМЯ.*

Всю ночь шёл ровный тихий снег и мичмана Павлова, одиноко стоящего у сквера на постаменте, снова резво повысили в звании — на плечах его расстегнутой шинели величественно громоздились генеральские эполеты. Хорошо ему стоять, снег не откидывать, а тут уже руки отваливаются, ежедневно тонны по три перелопачиваешь. Сядешь работать, а руки дрожат.

Сiju восстанавливаюсь. Вдруг подходит запыхавшаяся взволнованная женщина в дубленке, отороченной мехом, в оленьих, расшитых бисером, сапожках. Уняв дыхание, с ходу окунула меня в свои неотложные заботы:

— Я тут в гости к матери приехала, давно не виделись и ей сегодня плохо стало, что-то с сердцем.

Поправляю лупу на лбу, удивленно поднимаю плечи:

— Но я же не врач, лечу только механизмы.

— Так у нас сегодня же и часы встали. Мать как это увидела, так сразу и сникла. Всё, говорит, теперь и я следом за отцом пойду — верная примета. Мол, перед тем, как ему умереть, часы тоже остановились. Как мы её ни разубеждали, как ни уговаривали, бесполезно, стоит на своём. Помогите, пожалуйста, восстановите эти часы.

Глянул я на этот механизм, прикинул что к чему: «Машина старинная, износ большой, копотни много. Сегодня четверг, в следующем четверг и получите».

— А побыстреей никак нельзя?

— У меня же очередь, сроки сжатые, люди из сёл приезжают, а для них в город приехать, всё равно, что в Москве побывать.

— Ну, поторопитесь, у вас тоже, наверное, есть мать, поймите меня правильно.

Я, конечно, её понимал, невольно вспомнив свою маманю, так неосторожно залетевшую на самый юг бывшего Союза, куда теперь не добраться, ни вывезти её оттуда... Ладно, завтра к вечеру сделаю.

Благодарная просительница упорхнула к своей матушке, но не прошло и часа, как она снова появилась. Теперь она была заплакана и еле сдерживала рыдания:

— Маме стало совсем плохо, «скорая» поставила укол и уехала, мол, что же вы хотите, человеку под восемьдесят. А она очнулась и опять про часы поминает. Ради всего святого, сегодня, сейчас займитесь ими, ждать до завтра нельзя. Ну попробуйте, я знаю её, часы затикают, и она оживет. Вы же себе не простите потом, если откажете. Надо помочь, если есть хоть тень надежды. Вам это зачтется, — её слова действовали гипнотически.

— Ну, если всё зависит только от меня, извольте, — бодрясь сверх нормы, отвечивал я.

Вечером отдал исправленные часы, потратив на них весь рабочий день. График сместился, пришлось потом целую неделю краснеть и белея, выслушивать нелестные укоризны.

Тогда я так и не узнал, помогла ли моя часовая терапия, но прошло месяца полтора и ко мне пришла улыбчивая, опрятная старушечка и, преклонив голову, в модном когда-то гипюровом полушалке, долго рассказывала о своих «волшебных» фамильных часах с курантовым боем, переживших нескольких царей и генсеков, войны и голодоморы, бабушек и дедушек, и ещё два страшных троицких пожара. Горько сожалела, что не поторопилась с ремонтом раньше, при муже, может и он бы ещё пожил, а то вот приходится одной век доживать.

— Ну, они ещё лет сто проходят, — успокоил я её зачем-то, а сам подумал: «К сожалению, вещи надолго переживают людей, может и в них переселяются наши души... Кто знает?»

На съезде

Старые мастера учили — выдаёшь заказ, не спрашивай: «Ваша ли это вещь?» А тут пришла бабка за часами, а я возьми да и спроси.

Бабуля сразу же и засомневалась:

— А вроде наши-то поновее были, да и верх изжелта, золотистенький такой... А, впрочем, я не знаю, дедка сдавал.

— Что вы мне голову морочите? — выпаливаю в сердцах, проклиная себя за дурацкий вопрос. — Номер сходится, марка та же и корпус хромированный. А раз вы сомневаетесь, то пусть дед и приходит.

— Да неколи ему, сердешному, он ить уже второй день на съезде Верховного Совета.

— Когда же он успел-то, — недоумеваю, — ещё вчера утром здесь, был?

— Да что ж ему не успеть-то?! Как съезд начинается, он белую рубашку надевает, спинжак с мядалями, галстук нацепляет и садится перед телявизером. И близко к нему не подходи! Он заседает! И голосует, и руку тянет, и речи говорит, всё критикует, всю правду таперча высказывают, никого не боится, такая язва!

А уж такой гордый, ну чисто депутат! Всю жизнь тиходомом был, воды не замутит, вот ить как время повернулось. Ладно, ты уж не сердись, вот съезд-то кончится, он сам притопает, тогда и разберётесь.

Грузины

Яркое ветреное утро. Солнечные зайчики от луж радостно мечутся по стеклянным стенам огромного магазина-аквариума, проникают внутрь торгового зала, растворяют цветное изображение телевизоров, вызывая неудовольствия продавцов, утонувших в энной серии «Санты Барбары», весело играют на блестящей лупе часового мастера, выглядывающего из своей будки, заставляют щуриться озабоченную начальственным зудом старшую уборщицу Зою Ивановну. Вчера она весь день полола картошку и сегодня у неё походка кавалериста, измученного многовёрстной скачкой.

— Так наработалась вчера, — отдается эхом её командирский зык, ночью два раза поесть вставала.

Проковыляв несколько шагов, останавливается в раздумье.

— Стюра, куда эт я пошла?

— В клозет, Зоя Ивановна!

— Да поди ты, открывать же пора.

Заждавшиеся посетители вваливаются в зал. В такую задиристую погоду клиент идет косяками, как горбуша на нерест.

К часовой будке подходит пенсионер с орденскими планками на черном в полоску пиджаке и в соломенной шляпе. Благодушное, курносое лицо его по-детски доверчиво и незащитно. Подает мастеру ещё довоенные карманные часы с полустершимся бумажным циферблатом. Примостив ладонь к уху, слушает приговор мастера:

— У вас тут пружина лопнула. Таких у меня нет.

- Что? Что? Грузины? Какие грузины?
- Да причем здесь грузины, — удивляется мастер. — Пружина лопнула.
- А? Что он говорит? — обращается владелец часов к проходящей мимо молодой паре. Те останавливаются и натужно кричат ему в самое ухо:
- Пружина!
- Да я давно понял, что грузины, — почесывая за ухом, озадаченно кричит дед, — но где они работают, как найти этих грузинов?
- Мастер, виновато улыбаясь, знаками пытается объяснить причину и показывает пружину от часов. Клиент впервые в жизни видит эту черную, извивающуюся спираль, похожую на пиявку и, думая, что над ним издеваются, хмурит брови и сердится. Ждущие своей очереди хохочут и советуют ехать в Грузию. Так ничего и не поняв, ветеран забирает свои часы, бормоча себе под нос:
- Дожились, опять без грузинов ни шагу...

Дипломатия и коммерция

В самый разгар смутного времени начала девяностых, когда встали заводы, а деньги настолько подешевели, что подержанный «Запорожец» стоил пять миллионов, на улицах появилось много бродяг, бездомных, теперь они, пожалуй вымерли. Бомжи в России долго не живут, зима их выкашивает. Зона рискованного земледелия...

Стаяла дневная жара. Солнце зависло над синими куполами монастырского храма и бесцеремонно наблюдает за деяниями поднебесных жителей. Шесть часов вечера.. До закрытия мастерской ещё час. В это время начинает густо идти алкашня и прочая шушера. Просят стакан взаймы, пытаются взять денег в долг, несут на продажу любую вещь: кожаные куртки, американские рубашки с орлами, китайские часы, меховые шапки и всё за «пузырь». Публика незлобивая, благодушная — откажешь не обижаются.

Казалось бы, у этого сословия, живущего в хаотическом мире, нет и не может быть ни системы, ни порядка, ни закономерности, но как ни странно цикл у них был железный: понедельник и пятница. Видно, зелёный дракон тоже дисциплинировал, заставлял жить по своим не-писанным меркам.

Подходят два бесприютника. Один щербатый, второй — вообще, без передних зубов. Где-то добыли медицинские часы, решили сбить часовщику. Уж больно мудреный прибор: блестящие штекеры, цветные проводочки, кнопочки, флажки.

Щербатый, видимо, хитрее беззубого и, чтобы не прогадать, решает узнать назначение механизма, попутно выяс-

нить его истинную ценность и начинает разводить тяготячую дипломатию. Старательно морщит лоб, закатывает глаза, деланно жестикулирует, что должно, вероятно, восполнить нехватку слов его скудного лексикона. Поглаживая давно немывтыми руками блестящие детали часов, спрашивает: как они заводятся, для чего служат, как называются, где применяются.

Но беззубый страшно нетерпелив. Он надоедливо переминается с ноги на ногу, перемежая шумное сопение тяжелыми вздохами, распространяя сивушный дух, поминутно дергая разошедшегося дипломата за продранный рукав — ему нужен результат и поскорее. Перебивая щербатого, он оглушающе вопит:

— Дед! Давай тридцатку и хорош!

Щербатый, возмечтавший, видимо, получить больше и видя, что его подсекли, подрезали на самом решающем месте, мгновенно разворачивается и замахивается на беззубого. Тот с криком отскакивает и торг продолжается.

— Отец, дай на пару пузырей, и мы пошли, — уговаривает щербатый.

— Хм-м, дурака нашли, — возмущается мастер, — они же краденые!

— Что ты, в сгоревшем доме нашли, — неуверенно оправдывается продавец, — видишь уголок почернел.

— А хоть и так, но здесь простой будильник с суточным заводом, у меня таких механизмов два ведра, под столом стоят. Хотите вам одно ведро подарю?

— Да нам не надо, — тянут они разочарованно и бредут дальше...

Надысь

На груди у Аверьяныча, фасонистого пышноусого казака, по прозвищу Надысь, начищенные до слепящего блеска две медали. Одна — золоченая потертая, к столетию В.И. Ленина, другая — серебряная, новенькая, с надписью «Атаман А.И. Дутов».

Два Ильича, два смертельных врага, замирились на груди потомственного оренбургского казака. Присел рядом, разговорились.

— Как же понимать вашу позицию? — спрашиваю, указывая на регалии.

— Дык, надысь, васейка, третьеводни, — сыплет он мелким бисером, шепелявя на свистящих согласных. — Родитель — то мой, царство ему небесное, у самого атамана Токарева вахмистром служил, лихой наездник, настоящий джигит, на полном скаку манерку с пола поднимал. А дядя, брат евонный, в красных комиссарил, у Блюхера, отчаянный был казачина, оберучь, махался двумя шашками сразу. Бывало на побывку к матери прискачут: сначала подерутся до крови, а потом обнимутся и плачут. Мне бабка рассказывала. Единокровные же, одну титьку сосали...

Оба брата, как и ети вот, ерои, — махнул заскорузлой ладонью на медали, — за Россию сгибли. Сколько народу положили... страсть! Вон и Гришка Мелехов с Тихого Дону то за белых, то за красных, то в зеленые подался — все для народа счастье выискивал, а чего добился? Шолохов-то до конца не прописал. Может побоялся, может, еще чего...

А оно и так ясно — в распыл его. Потому как, надясь, васейка, третьеводни, ни белым, ни красным народ не нужен.

Они токо за власть пластаются, людей стреляют, а про-столюдье само по себе. Оно и ноне тако же...

Баба Люба — трактористка

— Ну как? — спрашивает она обычно, выгнав гусей с выводком пастись на полянку, против моей будки.

— Да все как — то так, — отвечаю по-хлестаковски, — а у вас?

— Та Пэтро учора опять надрызгався, до дому на рогах прыполз, — охотно вступает она в разговор. — Я ж ему тико на автобус даю и сумку на увэсь дэнь собираю, шоб в магазин нэ бигав. Дэ вин гроши бэрэ? Мабуть зайчиком йиздэ, ось и сэкономыв на бутылку.

Бабушка Люба, самая надежная моя соседка, рослая, со славянскими очами, хохлушка, предки её еще из стольпинских переселенцев. Теперь ей уже за семьдесят и она ещё за всеми поспевает, и борщ на целую ораву родственников сварить, и лепешки испечь и за непутевым племянником приглядеть, и живность обиходить.

А на Троицу у бабы Любы сотворилась гулянка.. Старая её подруженька Одарка из-за казахской границы, с Михайловки, приезжала. Растопили самовар сосновыми шишками, под цветущую яблоню пирог роскошный поставили, из подполья настоечку достали — получился настоящий праздник, как раньше было. Терпкий самоварный дым, пьянящий аромат яблонь, роскошные звуки украинских песен — всё перемешалось. Спивали так, что разбудили две пятиэтажки. С балконов подняли крик, но что с них возьмешь: своя хата, свой двор, «нэзалэжность», да и поют так, что душа у всякого распахивается.

Вспомнили свою «трактористскую» юность, свои колёсные «ХТЗ» со шпорами. Сиденья там были железные с дырками: то ли для форсу, то ли для вентиляции. Кабинки тогда ещё не делали, обзор хороший и не жарко, зато и хлесткий дождь, и липкая грязь, и пыль, и все ветры твои. Тогда-то Любушка и застудилась, оттого и своих детишек не завела. Зато и посевная, и уборочная, и зябь — все на ней держалось. Лучшая трактористка района, к ордену представили, но не дали; она ж из раскулаченных, а грамотами все стены были оклеены.

Она и на целине побывала, но только уже кашеваром. Жили в палатках. Летом в ней душно, зимой холодно, осенью, в дождь по стенке: пальцем проведешь, вода бежит.

Вспоминая то время, баба Люба грустно шутит: вся жизнь трактором перееханная, даже мужа трактором задавило.

Теперь живет одна, если не считать целого выводка от родной сестры с зятьями, снохами, внуками. Она — корень рода, от неё и все нервы родственные.

Но пришел и её час. Из роддома внучка возвратилась, крепкого правнучка принесла и захотелось ей вкусных бабулькиных лепешек. А накануне пронесся ураганный шквал и та яблоня, которую баба Люба посадила ещё с мужем, которая каждую весну дарила ей щемящие воспоминания молодости, сулила ей надежду на ещё один год жизни, та яблоня, под которой в последний раз пели, рухнула на провода.

Тока не оказалось, и пришлось затопить печь во времянке, а её с зимы не трогали. Тяга не наладилась. Шаяло, шаяло, дым, чад, копоть — сильнейший приступ астмы. Увезли на «скорой».

До больницы не довезли...

Звездынька

Когда Федотов вез арбузы на своем любимом Чемберлене с бахчей на колхозный склад, пацаны, сидевшие в придорожном чилижнике, в засаде шептали друг другу: «Тихо! Звездынька едет». А он, сидя полубоком на скрипучем рыдване, так чтобы видна была и поклажа, и дорога, мурлыкал про себя протяжную казачью песню, держа наготове длинную хлесткую талину — главное оружие колхозного огородника.

Сын бывшего казачьего урядника, расстрелянного в тридцатые. Он и сам хватил лиха через край. При крещении нарекли Никифором. Друзья кликали просто Никишкой. После свадьбы ласковая певунья Анисья за лучистые глаза называла его Звездынькой. Никифор сначала противился такому чувствительному прозвищу и не откликался на зов жены, но когда вся станица с ликованием приняла новое имя, смирился.

Солнце катилось к горизонту и рядом тащилась неотвязно тень быка, превратившая его в жирафа на ходулях. Над избами села, под горой кое-где поднимались дымки, доносилось мычание коров, повизгивание поросят, тревожные крики гусей — день завершался, на сердце было безмятежно, как в юности. Он знал, что эти арбузы и дыни утром развезут на полевые станы, и земляки скажут о нем доброе слово.

А дома уже готов ужин, его ненаглядная Анисья, как всегда, выйдет встречать к воротам. Он представил, как потом зароеет свою седую голову в ее густые волосы, а она будет долго глядеть в грустные глаза, прижимаясь к его крепкому, пахнущему полем телу, как будет гладить своими шер-

шавыми ладонями ее тонкие горячие руки. Оба вновь вдохнут свежесть летнего вечера, как будто и не было тех страшных десяти лет Гулага, когда уже казалось невозвратным счастье, и лишь любовь, сердечная привязанность друг к другу сумела помочь им выжить и выстоять.

При мысли об Анисье волнуящее тепло растекалось по всему телу. Никифор отгонял нелегкие думы о лете сорок первого, когда он был молодым, веселым и болтливым. Не хотелось вспоминать дни на передовой, особенно налеты немецких бомбовозов, от которых защититься было невозможно. Он не прятался, не затыкал уши, замирая от ужасающего рева, лежал в окопе вверх лицом, рассуждая: «Попадет, так не в спину же!» А однажды, когда низко над ними протарахтел красновоздушный У-2, у него, наивного деревенского мужика, неожиданно вырвалось: «А почему это у немцев самолеты железные, а у нас — деревянные?..» Служба стучачества была и здесь. За три часа до сокрушительного штурма он был арестован и увезен в тыл.

Наскоро осудили: «за пропаганду пораженческих настроений». Федотов схлопотал десять лет колымских лагерей. А из тех фронтовых друзей не вернулся домой ни один.

После ухода Никифора на фронт Анисья мыкалась одна с тремя дочурками, старшей было восемь. Надвигалась первая военная зима. Корову пришлось вскоре сдать в колхоз, приобрела козу, появилось опять кое-какое молочишко. Но радость была недолгой — одолела бескормица. Собирая остатки огородного будыля, Анисья холодела при мысли, что будет с ее девчужками, если не станет молока! Село жило скудно и печально. Почти все мужчины, кони и даже трактора были мобилизованы на фронт, и главной тягловой силой стали коровы. На них и пахали, и сеяли, и дрова возили, и сено. Бедные коровушки! Сколько же им досталось!

Тонконогие, с опавшими боками, озирая мир большими печальными глазами, они покорно подставляли нежные свои шеи под тяжелое ярмо. не забывая свое главное назначение — давать молоко и приплод. А рядом были женщины: старые, молодые и совсем подростки. Они надрывались на непосильной мужской работе, в кровь стирали руки и ноги, просты-

вали, недоедали, гибли, незаметно, буднично, как солдаты на большой войне.

Анисья выбивалась из последних сил. На ферме работали от темна до темна, дети часто болели, в доме было холодно и голодно...

В ту ночь она проснулась от резких ударов и скрежета. Голодная коза била рогами в стену и грызла доски... Анисья поняла: пропадет их кормилица, детишкам не выжить. Она взяла мешок и с отчаяния пошла к огромному колхозному стогу надергать соломы. На селе всегда всё знают о каждом, знали и о ее надвигавшейся беде. Знали и ждали. Были и недоброжелатели из тех, кто боялся ее меткого языка, Анисья была душой и любимицей осиротевших солдаток. Ее хлесткие частушки задевали лодырей, веселили народ, но и настоуживали местное, не всегда чистое на руку начальство.

Не успела она донести злополучный мешок о соломой до своего сарая, как нагрянули с обыском. Нашли у солдатки улики. Утром увезли ее в район. Припаяли десять лет. Детей определили в детдом, избу заколотили, козу увели соседи. Для Анисьи разом прекратились нескончаемые хлопоты, сменившись острой болью обиды на судьбу.

Гулаг все ее заботы взял на себя, окунув в бездну еще более горших страданий... Кончилась война.

Прошло десять лет.

Однажды у заключенного полуразоренного домишки появилась она, Анисья. Вместо статной красавицы, успевавшей вершить несколько дел сразу, стояла легкая, как перышко, измотанная, остроскулая старушка. И только глубокие искры глаз остались те же, да острый как бритва, язык.

Вскоре пришел и Никифор, ее Звезденька, худой, как тростник, но с большим опытом выживания. Разыскали и вернули домой дочерей, подлатали избенку, распахали огород, завели живность, и Счастье вернулось. В селе на них глядели как на чудиков с их все возрастающей Любовью. Женщины, особенно вдовы.. завидовали Анисье.

А она расцвела, как будто и не было того страшного десятилетия. К ней вернулся и ее чудный голос: когда ехали с

дойки, бабы просили: «Давай, Анисья, запевай», а потом дивились: «Ну ты чисто Лидия Русланова!»

Мысли Никифора прервала внезапно выскочившая из придорожного кустарника ватага сорванцов. Позволив самому шустрому, всегда голодному Репникову схватить арбуз, он отогнал хворостиной остальных.

Невозмутимый Чемберлен шумно вздохнул и, почувствовал запах жилья, почмокал толстыми розовыми губами и ускорил шаги.

Крест Иванушки

В прогал меж бархатно-тяжелых туч всплыл ослепительный диск солнца, разом залив всю округу светом. Озорной луч, отразившись в зеркальной витрине магазина, заглядывает в глаза, радует, окрыляет душу.

Натужно бухтит двигатель. На красном своем «Запорожце» к мастерской лихо подкатывает Ваня Жуков. Резко открыв дверцу, бросает наземь доску с четырьмя колесиками, пристегивает к ней свое крепкое тело и, отталкиваясь скругленными деревяшками, подбирается к крыльцу. Подтягиваясь на нижних проемах перил, боком поднимается по ступеням. Одаривая меня улыбкой счастливого человека, здоровается, поправляет нательный крест, высунувшийся в прорезу сорочки, интересуется здоровьем жены и, почуяв участливого собеседника, окунает меня в реку своего бедолажного бытия.

Знакомы с юности, когда он еще был непобедимым стайером, бегуном на длинные дистанции. Теперь встречаемся редко, только когда у него часы ломаются.

— Ты веришь, я ведь бизнесом подзаянлся, — зачастил он, — коров держу, целое стадо, аж три головы. Жена доит — я пасу на «Запоре», кобель помогает, такая умная псина: я посигналю, он тявкать начинает. За молоком очередина. Конкурентов-то нет. В поселке одни старушки немощные остались, им уже не до коров, в огородах еще маенько ковыряются... Зато дачников привалило, вот на них и выезжаю, выгодное дело. У тебя детей-то так и двое?

— Да, а куда их больше, — отвечаю.

— А я трех пацанов настрогал, — хохочет он, — старшему восьмой пошел, уже помогает. Мы с ним и рулевые тяги заменили, и двигун перебрали, и колодки переклепали, Смышленный, весь в меня. Ничего, жить можно.

Широко улыбнулся, блеснув перламутром зубов, подмигнув правым глазом:

— Я ж к тебе по делу. Изладь-ка мне «Молнию», от бати достались. Его к юбилею победы презентовали, вишь орден на крышке сияет.

Когда меня с Афгана... без ног привезли, он сильно занемог, мучился, переживал, а потом, когда мне инвалидку бесплатную пригнали, вроде оклемался. Бревен подкупил, прируб к дому сделал, крышу перекрыл, а как-то раз прилеп после обеда отдохнуть, уснул и не проснулся. Говорят, легкая смерть. Ему, может, и легко, а нам-то каково?

С минуту помолчал, кинул на меня быстрый взгляд озорных глаз.

— А че помрачнел-то? Насупился! Не грусти-и-и. Пока живы, радоваться надо. Приезжай ко мне на Золотую Сопку, песни попоем, ты ж солист. Ребят моих помянем.

Он помолчал и осекшимся голосом продолжил:

— Всех положили, один я остался от всего взвода. Без сознания, весь в кровище, но живой. Думаю, вот этот крестик серебряный и спас меня...

Тогда, еще в учебке, мать на присягу в Чебаркуль приезжала, надела его на меня. Он и Саланг вместе со мною прошел, и госпиталь... Теперь вот и мать к отцу ушла... Мне показалось, что в глазах его блеснули слезы, но через секунду Иван вскинул голову, остановил на мне долгий взгляд.

— Я опять тебя расстроил, прости. Не хотел. Ей Богу, не хотел. Протянул мне руку, крепко пожал и уже весело:

— Ну, я полетел к своим боденьшкам. Мальцы там остались, молотобойцы мои. Приезжай!

И вот так всегда, Ни хмурым, ни ноющим я его никогда не видел.

Только Елизавета, его многострадальная «половинушка», как он ласково ее называл, сморенная чугунной усталостью,

сквозь чуткую материнскую дрему слышала ночами натужные стоны своего Иванушки.

Адовым огнем горела поясница, нестерпимо ныли пальцы ног. Ни погладить, ни потрогать, ни защитить от боли.. Их просто не было, а они болели.

Порой он сам себе казался никчемным обрубком, жалкой култышкой, но проходила ночь, наступало утро и все видели веселого, могучего ЧЕЛОВЕКА.

Ненаглядная моя Кочерыжка

9 Мая вдруг резко похолодало, пошел дождь, словно сама природа плакала, скорбя о пролитой солдатской крови. А у меня в гостях — Василий Афанасьевич. Дряхлым старцем его не назовешь: гвардейский рост, боксерская реакция, мощный бас-профундо, и только совершенно белая голова при густых черных бровях да частая сеть морщин, перепавших все лицо, свидетельствовали о том, что Тимофеичу далеко за семьдесят. Он был слегка навеселе, не иначе как пару стаканов опорожнил меньшее количество на нем просто не отражалось.

— Утром, понимаешь, пошел за хлебом, друга-фронтовика встретил, поговорили... Долго говорили, боюсь, как бы моя Кочерыжка не взорвалась Я, когда осерчаю, — продолжал свою исповедь Тимофеич, — жену Кочерыжкой зову. Ненаглядная, говорю, моя Кочерыжка! Она хоть и ругается, а я все равно люблю ее...

— Она меня в госпитале выходила: из кусков был спитый, и морда взрывной волной скособочена — чистый обротень, да и доходяга был. Там, на Дубровке, мы только сухарями питались, вместо воды — болотная жижа, думал, всё уже, хана, даже говорить не мог. Накарябал ей карандашом записку: «Надо гармошку». Ну она где-то и раздобыла полухромку, старенькую, подразбитую, но играть можно...

С тех-то пор и начал я оживать... Руки у меня были забинтованы до плеч, но два пальца свободны. Гармонист-то я был в своей деревне первостатейный, а тут и меха растянуть не могу — сил не хватало. Потихоньку-полегоньку: каждый

день — так-то и выцарапался, такие, брат, концерты стал потом закатывать — весь госпиталь у меня перебивал, лежачих на каталках привозили...

Он помолчал, как бы раздумывая, стоит ли рассказывать, и, переломив в себе какой-то стержень, незаметно смахнув набежавшую слезу, заговорил:

— В Троицке давно живу, пообвыкся к шуму, к суете привык, а родился я в деревне Масли, теперь это Курганская область. Челябинский тракторный строил, первый камень закладывал. Разметку помогал делать, реечником значился... мастер все шутил: «Зачем ему рейка, он сам повыше рейки».

— Потом в армию взяли, был правогофланговым — длиннее меня в роте не было. Уже перед войной, помню командующий смотр устроил марш-бросок с полной выкладкой — двадцать верст по пересеченной местности... Тебе не приходилось бегать? Нет? Ну, да, ты же в пехоте не служил, а нас изрядно погоняли. Я был самолюбивый, никогда себя обогнать не позволял. И вот мое отделение первым приближается к финишу, а один из новобранцев полностью выдохся и начал отставать.

Я на бегу снимаю с него скатку, кидаю на себя — отстает, ранец его на себя повесил — опять отстает, винтовку у него забрал, а он уже так захекался, вот-вот упадет, а бежать оставалось метров двести.

Я хвать его на плечо и бегом к финишу. Представляешь, нагрузочка! — по спине ручьи бегут, а генеральская свита биноклями посверкивает улыбается, такое им в диковинку... Ну и я здоров был, плечи — во! Шея, как у бугая, мне две порции полагалось. Наше отделение тогда не только в норму уложилось, а еще и первое место в дивизии заняло. Командующий мне благодарность объявил и долго потом рассказывал о моем, как сказать, подвиге. А мне-то нужно было, понимаешь, отпуск домой заслужить, вот я и постарался.

А выпил я сегодня потому, что однополчанина встретил по Волховскому фронту. Он с того места, где я столько ребят похоронил. Вспомнил я своих водителей... Сам их готовил. «ЗиСы», «полуторки» снаряжал, да и

сам не один раз промеривал эти проклятые тридцать километров Ладоги.

Озеро, а берега не видно. Едешь, а в колее чернеется, кто знает — что там вода или промоина... Сверху фрицы расстреливают, а подо льдом — бездна. Бывало и такое; гонит солдат машину, брызги во все стороны фонтаном, и вдруг она начинает опускаться, понимаешь не сразу — проваливается. а постепенно, плавно, сначала ее льдом зажмет. Она еще наплаву, а дверцы уже не открыть. Потом, позднее, приказ вышел: «Дверцы кабин при движении по льду озера СНИМАТЬ». А сколько ребят погибло, живыми под лед уходили... Прокопченные, обмороженные, опухшие от голода, молодые совсем пацаны и матерые мужики — сколько их погибло...

В мой автобат почти каждую неделю пополнение прибывало. Много их прошло через мои руки, всех не признаешь, но двоих я особенно запомнил. Лучшие мои водители. И горели, и тонули, и на буксире их, полуживых, притаскивали, дольше всех продержались, удачливыми были — косая их долго стороной обходила, они всегда были в рейсе, не знаю, когда и спали... Но погибли и они...

Афанасьич помолчал, как бы проглатывая комок, подступивший к горлу.

— Погибли позорно для нас, остававшихся в живых...

Первый из них — Гриша Коновницин — детинушка, в кабине еле вмещался, нас таких только двое было во всем батальоне, добрейшая душа. Вез мясо, перед этим свой-то паек детишкам отдал, с голоду помирали. Сам голодный, сил нет, отрезал граммов двести говядины, сварил на паяльной лампе... Обнаружили крошечную недостачу — трибунал, расстреляли. Нас известили задним числом.

Другой — Миша Гуладзе, огневой грузин, весельчак, шутник, красавец. Случилось так, что не успел получить паек, вез сухари, от голода стал терять сознание. Взял четыреста граммов (так в протоколе и написано — «четыреста»), размочил, съел, благополучно доехал до места на пробитых осколками скатах, в изрешеченной пулями кабине, пошутил с приемщиками, мол, взял для себя капельку, чтобы привезти

гору, сразу же был арестован — что «тройка» решит... А у нее известно, одно решение — вышка... Назначили и меня в «тройку», как командир автобата — я ни в какую.

А они: «Да мы и без тебя его к стенке поставим, ты нам просто для проформы нужен...»

Тут ребята, водилы, ко мне заскочили: «Соглашайся, — говорят, — Афанасьич. Ему ведь все равно хана, а ты, можешь, чего и добьешься. Ну, согласился я на свою голову.

Как только ни доказывал, как ни просил, как ни умолял, на колени становился. Это я-то на коленях, представляешь? — Все напрасно.

Их двое, я один. Оба — бывшие прокуроры, плюгавая сволочь, свои шкуры спасали. Во мне все кипело. Не смог я удержаться, схватил их обоих за шкирки, лоб об лоб хрясь и наганы вынуть не успели... Коли б ребята не оттащили. Убил бы, наверно, обоих....

К стенке меня поставить не успели, комполка выручил, пока «шили» дело, отправил меня на Невскую Дубровку, к смертникам — было под Ленинградом такое местечко...

А Мишу Гуладзе так и не успели расстрелять, он умер от несварения, в страшных муках. Собирался после войны в грузинском ансамбле на одном пальчике танцевать...

Афанасьич надолго замолчал, совсем забыв обо мне. Очнувшись, продолжил:

— Ну, Невская Дубровка — тоже не курорт была — плацдарм, восточнее Ленинграда, полоса суши, обстреливаемая гитлеровцами. Впереди — Нева, сзади — болота и землянки вырыты в болоте. Нары постланы, под ними вода хлюпает. От постоянных разрывов земля дрожит, как в лихорадке, и днем, и ночью. Немец сверху то бомбами сыплет, то из тяжелых орудий обстреливает. А спрятаться некуда. В землю не зароешься — жижа болотная. В аду, наверное, легче было. Бесилась немчура, что мы им десант не давали высадить, вот и поливали нас огнем. И с едой там было, хуже некуда, пухли все с голодухи.

Ты когда-нибудь кошек ел? Нет? Вкусное мясо, между прочим, а вот грачи — дрянь...

Иногда ночью катер к нам прорывался, раненых увозил. Вот и мне повезло — снаряд рядом упал, пробил болото и там взорвался. Меня оглушило, контузило, изрешетило...

Вот так я и искупил свою вину... А за что? Коли б не моя ненаглядная...

Он бессильно колотит по столу кулачищами и плачет...

Клятва Гиппократа

*Святость человека, чистота его души
открывается не сразу. Порой он и сам
не догадывается об этом.*

Из ее повествований можно составить сборник. Вот только один из рассказов.

Родилась я в морошковом краю, на реке Вятке. Леса там богатейшие. Ягод, грибов не меряно, а жили бедно. Семья большая. Хлеба нехватка: ни одежды, ни обуви — ремки донашивали. Но я все же семь классов закончила, училась на пятерки. Голодали, пошла избачом, затем вербовщиком в угольной промышленности... Война началась. Мобилизация. Зачислили на курсы медсестер. Старалась. Когда из госпиталя врач приехал отбирать стажеров для своей операционной, то сначала нас четверых взял, а потом одну меня только оставил.

Добралась я и до вуза. В одну из медицинских практик направили нас в областную больницу, в хирургическое отделение. Хоть и не первая практика, а девчонки-сокурсницы все равно трясутся: кто крови боится, кому запахи не нравятся, а кто и больных не переносит... А я еще до института все эти страхи пережила: перевязки раненым делала — попробуй отдери присохший бинт от живого мяса — таких матюков наслушаешься... На «скорой» поработала — на автомобильные аварии выезжала — страх божий! Операционной сестрой была у самого Ивана Пальча, знаменитого пермского хирурга. А у него манера была — во время операции

не говорил, только взглядывал — попробуй не угадай, что ему в данный момент нужно. Многие не выдерживали его требований, у ходили, я же проработала там до самого поступления в институт, и не потому, что умела ловить мысли врача, а просто наизусть знала весь ход операции. Старалась видеть то, что видел он. Мысленно делала всё, что совершали руки хирурга, и мне нетрудно было расшифровать его взгляд.

Первое мое ночное дежурство выпало в реанимации. Слышу, двери лифта клацнули, везут, входит врач в колпаке, глаза злые, за ним каталку сестра толкает. Переложили больного на кровать. Глянула, а у него лицо синее с чернотой, губы как пиявки, глаза закрыты.

— Вот тебе, студенточка, подарок от профессуры. Попрактикуйся, домучь его, пока дышит, — вздохнул врач.

И осталась я одна с умирающим. Посмотрела документы: удалено правое легкое... уже на столе посинел... надежды никакой. И подписи — четыре профессора! Его бы сразу могли в холодную командировать да по инструкции не положено. А пациенту не было еще и сорока.

Мать, жена да и дети, наверное, есть... Сердце защемило от жалости.

Пульс почти ниточный. Попыталась давление измерить — прибор не показывает. Старалась вспомнить все, что в таких случаях делают, когда спасают человека, все процедуры записывала, указывая время и состояние больного.

После третьей капельницы лицо его потеряло синюшный оттенок губы стали розоветь, давление было низким, но оно было! Напоследок прокапала кровь. — Он открыл глаза — нежно-голубые жалостливые. Отрешенно пошарил по потолку, видимо, пытаюсь понять, где находится уставился на меня; заблестела слеза, он что-то прошептал и слабо улыбнулся. За окном светало. Прошел первый автобус, в коридоре зазвучали голоса. Прискакала посыльная узнать, во сколько скончался мой пациент, увидела его живые глаза, смутилась и убежала. Заглянул врач, обескураженный, недовольный, мол, чего да как?.. Стала объяснять, оборвал:

— Студенточка? — НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!

А потом была лекция в институте, и профессор, крепко держа меня за руку, тыча толстым пальцем, поучал аудиторию:

Она не только знала, она еще и ДУ-МА-ЛА! И это главное, чему вы должны здесь научиться.

И, бросив цепкий взгляд на мои писания, выдохнул:

— По этим «цидулькам» можно диссертацию писать — «Возвращение Человека к жизни».

А однажды, еще до института, когда госпиталь был завален ранеными, а врачи падали от усталости, достались мне два безнадежных летчика. Говорят: «Ты их не трогай, к утру отойдут». Подошла, поглядела, Молодые парни, чуть постарше меня. Оба без сознания, раны запущены. Я им перевязку сменила, обмыла... Стонут. Пульс еле-еле. Стала думать, что же они так напряжены. Катетер одному вставила — из него почти литр вышел, сразу полегчало, давление улучшилось. Второму клизму сделала, другие процедуры.

Чуть свет, санитары с каталками — в морг везти, а они в сознание пришли. Оба эти летчика поправились потом, хотя и комиссовали их. Один — начальником стал. Как-то, уже после войны, иду по улице, ветер в лицо. Останавливается машина:

— Садитесь, подвезу.

Я оторопела, а он мне — цветы, конфеты...

— Повсюду, — говорит, — вас ищу, отблагодарить хочу. А в машине — жена.

— Вот, — показывает на меня, — спасительница моя — выходила, а то давно бы уже сгнил в общей могиле...

Теперь Анне Ивановне, моей рассказчице, за восемьдесят. Осталась одна. Одолевают недуги. Летом выручают травы, лес. Зимой хуже. В больницу кладут неохотно. Сама врач, понимает. На лекарство нужны деньги, на пенсию не разгуляешься.

К юбилею Победы получит награду. Но какой ценой можно измерить сотни спасенных жизней и самоотверженную верность Клятве Гиппократа.

Афганец

Юное лицо, жесткое и худое, как утюг, ворс трехдневной щетины, потасканная серая фуфайка, вязаная нежаркая шапочка, пронзительные синие глаза, опирается на костыли.

Одна нога, вместо другой — пустая штанина, прижатая поясом.

Спрашивает тихо, как-то даже виновато:

У тебя не валяются лопнувшие пружины или сломанные маятники к будильникам?

— Хм! Зачем же они тебе, сломанные?

— Да вот пытаюсь будильники ремонтировать.

— Но это же гиблое дело.

— А как жить? Недавно из госпиталя выписался. Отец не дождался меня, помер. У матери астма, говорят, неизлечимо, колют гормоны. Пенсии ее только на лекарство и хватает.

— Ладно, подскажу я тебе идею. Подучисья маленько и будешь сам себя кормить, и матери поможешь. Только терпение надо иметь. Нервишки, поди, пошаливают. Ногу-то где оставил?

— Была одна история... Духи обложили: ни назад, ни вперед. Голову не поднять, каждый камень пристрелян. По рации «вертушки» вызвали, ждем, жара такая, что легкие обжигает, вода кончилась, а тут еще «афганец» подул — местный их ветер — пыль, противная, белесая, как цемент, забивает все: нос, уши, глотку, глаза.

Ну, один из наших, челябинских, вместе призывались, не выдержал, то ли нервы, то ли крыша поехала, вскочил

во весь рост и на духов! Но куда там?! Глядим, у него уже только полчерепа, и он бежит. Видно, разрывной пулей срезало макушку...

Тело оставлять нельзя, поползли мы с одним другом, поза камнями хоронились и уже почти дотащили, но снайпер привязался — друга наповал, а меня в ступню.

Вроде и рана была не опасная, а пока помощи дожидались, пока в госпиталь доставили... Хирург резал, резал, так всю ногу и откромсал. «Гангрена!» — говорит...

Все бы ничего, да вот спать не могу. По ночам друг приходит ко мне со своим черепом. Не отвязаться...

Танкист с Колымы

В разноцветии рыночной суеты, среди крикливых упитанных торговков и юрких, поголовно усатых сынов Востока, он выделялся неназойливостью, скромностью, как будто даже безразличием к своему занятию, что было так необычно в месте, отведенном под бурные торговые страсти, где зримо витал дух наживы, плутовства, резких слов и выражений.

На вид ему было лет семьдесят. Суховатый стан, лишенный старческой немощи, скуластое татарское лицо, усталые мудрые глаза, увеличенные стеклами очков, кисти обеих рук... без пальцев.

На рынке у него постоянное место. Торгует лекарственными травами: чабрец, мать-и-мачеха, солодковый корень, зверобой, другие растения. Собирает сам, в Башкирию специально ездит, в экологически чистые места. Все аккуратно перевязано, упаковано, подписано.

Общение с ним всегда лечит. Убеждаешься лишний раз в неистребимости крепких характеров людских, их неспособности унывать, даже там, где, казалась бы, кончился весь интерес к жизни.

— Я вот шасы рушные разобрал, промыл, собрал. Ходят, но очень спешат. Пять раз, однако, разбирал, работал как ишак, только уши маленькие, — смеется. — В чем причина? — недоумевает он, потирая левую культю правой, не подозревая, что совершил чудо, какое иным и с десятью пальцами не осилить. Разговорились.

— А мне недавно звание повысили, — сообщает он как бы между прочим.

— Как это? — недоумеваю я.

— Ну ты же знаешь, что я на Колыме восемь лет отбухал?

— Знаю, — вспоминаю я с трудом его историю: «В начале войны, — рассказывал он, — после окончания танкового училища меня, лучшего выпускника, вопреки моему желанию, вместо фронта направили на Урал, в подразделение по ремонту танков. Молодой был, горячий, но технику знал отменно. Нам везли целые эшелоны разбитых, полуобгоревших, развороченных танков, многие с засохшей, почерневшей кровью...

Как же я тогда рвался на фронт, почти каждый день рапорт писал. Работали, не различая суток. Спать было просто некогда.

И вот назначили нам нового командира. Орденоносец с крутым характером, бывший кадровый ка-ва-ле-рист. В лошадиных вопросах он, видимо, здорово разбирался, но тут же боевые машины. От его глупых приказов меня постоянно в жар бросало.

Однажды мы с ним крупно поспорили, он выхватил пистолет, стал угрожать, оскорблять, я терпел, но когда он назвал меня «тыловой крысой», терпение мое лопнуло, я тоже выхватил наган, чуть друг друга не порешили. Он пожаловался. Меня арестовали — и на восток...

На фронт я так и не попал, но тоже хватил счастья через край. Трактора ремонтировал, машины — уважаемый был человек. Весь автопарк лагеря на мне держался, но при слове «Колыма» у меня до сих пор мороз по коже. Зимой — минус пятьдесят. В гаражах стынь. Иней на стенах, как шуба, в руку толщиной. Аккумуляторы позамерзли. Дров не напасешься. Жгут все, что попало: старые покрышки, отработку, тряпки. Вонь — дышать нечем. Резина на морозе, что стекло. Камеру, надутую, на землю брось — в прах рассыпается.

Если в дороге машина встала, масло в заднем мосту враз каменеет, с места не тронешься, пока костер не разведешь.

Но и летом не легче. Колымских комаров даже скотина не выдерживала — олени в воде спасались. Охрана лагерей

наказывала зеков «постановкой на комары»... Ставили полурядетого бедолагу около вышки или привязывали. Машать руками нельзя — покушение на часового. Жертва сходит с ума от боли. Их обычно пристреливали или за «попытку к бегству», или за «нападение на охрану». В обоих случаях охраннику награда, зеку — смерть. Меня, однако, оберегали, как нужного спеца. Но однажды не повезло. В лютую стужу трактор перегонял, чуть не замерз. Тогда на меня даже спирта не пожалели, но пальцев я лишился...»

— Ну вот, после суда меня разжаловали в рядовые, — прервал он мои мысли, а теперь вспомнили, реабилитировали, вроде бы как извинились за те страшные годы. Пенсию хорошую назначили, почет, уважение. А я еще осмелился письмо в министерство обороны отправить, просил вернуть мне офицерское звание. Оно, конечно, ни к чему, но перед внуком стыдно. Через несколько месяцев я уж забыл, вызывает меня военком и вручает приказ за подписью самого министра обороны восстановить меня в звании капитана, а я тогда лейтенантом был, — и он горько усмехается...

Памяти М. М. Стаценко

Танковый десантник

Михалычу сегодня не везло. Ночью, как всегда перед ненастьем, хоть на барометр не гляди, ныли шрамы на спине — следы немецких осколков, утром зашел в подвал проведать мухманов, как он называл пчелиное семейство — в двух ульях из десяти не было признаков жизни. Вода в предбаннике, где Михалыч каждое утро принимал холодную ванну, подернулась ледком и острый кристаллик до крови оцарапал плечо. По дороге на работу, переходя центральную улицу, пришел в ужас, видя мчащуюся легковушку без водителя. Ждал аварии, разволновался, но машина послушно остановилась на красный свет. Изругав себя за недогадливость, понял, что иномарка с правым рулем.

«Старею», — подумал про себя.

В мастерской его поджидал клиент Сутягин, белёсоволосяный ровесник Михалыча и давний знакомец. Их вместе призывали на фронт, только Михалыч угодил на передовую, а Сутягин, как счетовод, пошел по интендантской части.

Полгода назад Михалыч приводил в порядок его допотопные стенные часы с боем, изрядно помаялся, но довел до ума. Не дав мастеру переодеться, клиент затараторил:

— Чё ет они после заводки только десять дней ходят, а не двенадцать? Мне бабка говорила, маленький я был, но помню.

— Знаешь, сколько лет этим часам? — спросил Михалыч спокойно, стараясь унять дрожь в голосе.

— Лет двести, ну и что? — ехидно прищурился Сутягин. — А сколько они на чердаке пролежали с заведенной

пружиной, знаешь?

— Лет пятьдесят, — неуверенно промямлил клиент.

— А известно ли тебе, что металл, как и человек стареет и устает. Усталость металла, понимаешь? Десять суток для них очень даже хорошо.

— Да что ты мне мозги пудришь? Скажи, что пружину заменил!

Вовремя заметив, как заиграли желваки на скулах мастера, Сутягин выскочил на улицу, громыхнув дверью.

Вконец расстроенный Михалыч вышел во двор и попросил закурить у мастеров, сидящих на лавочке.

— Ты ж не куришь, Михалыч!

— Да нервы... Трясет что-то.

Прошло несколько дней и вдруг ударила тревожная трель телефона. «Не стало Михалыча! Прощание в час. Три пересадки да еще в гору пешком, к часу успел, но его увезли раньше...»

Грустный ветер вяло шевелил распахнутыми настежь воротами, во дворе ни души, не видно даже собаки, лишь пунцовеют цветы на темно-зеленом бархате хвои. От двора веяло какой-то давящей пустотой и неприкаянной осиротелостью.

А он был умелый хозяин. Все у него добротное, своими руками сделанное. И дом на высоком фундаменте, и желоба, и система бочек по сбору дождевой воды для полива, и двор, выложенный плитами. Напротив дома бревенчатая баня, где он любил париться и обливаться холодной водой в любое время года, и турник, и ухоженный сад-огород, где росло все: от неприхотливой троицкой вишни, до арбузов, дынь и нежного винограда. Правда, правила здесь вездесущая Куприяновна, но он был у неё первым работником. Весной брал пенсионерский отпуск и на все лето уезжал с пчелиным семейством в луга на медосбор. А зимой снова садился за верстак — и не было часов, которые он не мог бы восстановить. Мастер он был отменный. Его чуткие, умные руки делали чудеса. Безо всяких приспособлений, одними пальцами, он правил балансы, формовал в горячем виде всевозможные конфигурации стекол, распутывал сложнейшие

спирали. Бывало, крышка в часах не закрывается, все мастера перепробуют — бесполезно. Михалыч молоточком тукнет два раза в нужном месте и... защелкивается лучше новой. Если что у кого не получалось, шли к Михалычу — он поможет. Мастера зубоскалили: Михалыч, мол, и на фронте часы ремонтировал, прямо на танковой броне.

Раз мы увидели его в день ПОБЕДЫ и ахнули. На просторной груди среди доброго десятка медалей выделялись целых четыре ордена: Отечественной, Красного Знамени и два ордена Славы.

— Михалыч! Да ты ж настоящий герой, — удивлялись мастера, и молчишь!

— Да какой там герой. У меня ж только бронзовая да серебряная Слава, а вместо золотой — Красное знамя вручили.

— Так его ж только командирам дают.

— А я и был командиром. Сержант гвардии! Сначала в пехоте, а потом на танки посадили. Знаете, что такое танковый десант? Это, когда под тобою не земля, в которую можно зарыться и, может, спастись, а ревушая, стреляющая, бешено мчащаяся по рытвинам, броня, по которой ведут огонь из всех видов оружия. А ты сверху, открытый всему что в тебя летит: снег, дождь, грязь, пули, снаряды, мины, осколки. Ты — живая мишень! Пока за скобу держишься — живой. Много ребят сгибло... И какие парни! Отборные! Слюнтяев у нас не брали. Мне везло может потому, что был командиром отделения, мое место за башней. Хотя пуля везде находит. Три раза был ранен, в самом пекле побывал.

Однажды, уже в Польше, получили приказ: двум отделениям, на двух танках просочиться в тыл противника, захватить мост через реку Нарев и продержаться до прихода наших войск. Ночью нас провели через линию фронта, и на рассвете вторых суток мы были на месте. Танки укрыли в лесу, стали присматриваться. Болотина. Речка пошире нашей Увельки. Мост старый, но еще крепкий. В километре городок с черепичными крышами. Скопления войск не обнаружили. Место самое глухое.

Ночью на резиновых лодках благополучно переправились. Сплошная темь и тишина непривычная, осторожная и чужая. Без лишнего шума сняли часовых, ликвидировали охрану, пулеметы их нам потом, ох, как пригодились. Один танк оставили на том берегу, для подстраховки тыла, второй — перевели по мосту и закопали. Получилась удобная оборона: на флангах бетонный дот и танк, по фронту — глубокая щель, бруствер из мешков с песком. По бокам болото, впереди — поднятая дорога в городишко. Выковырять нас могло только прицельное бомбометание».

Но мы знали, что жестокого штурма нам не избежать, а помощь придет не скоро. Рассвело.

Первая атака была отбита легко, фрицы, видимо нас недоценили. После жуткого затишья вдали показалось несколько танков, бронемашин, и началось... Пришлось вступить в бой и нашему танку. Занимая выгодную позицию, ему удалось поджечь две машины, один танк застрял в болоте, остальные уползли обратно. Примерно через час жуткую тишину нарушил надсадный гул, показались бомбардировщики.

За несколько минут крошечного ада потеряли четвертую часть десантников и капитана. Командование принял я, как старший по званию среди живых. А день ещё только начинался. А мост дыбился за нами старинной краснокаменной кладкой, как памятник и немой свидетель нашей гибели. Бойцов становилось все меньше: до самого вечера мы отбивали непрерывные атаки фашистов. Дот, после нескольких прямых попаданий, раскололся. Танк, чадя соляжкой, догорал. Мешки, изорванные осколками, сочились песком. В живых осталось меньше половины, многие были ранены, некоторые тяжело. Они умирали, помочь мы им не могли...

Утром нового дня приступ был особенно бешеный, видно их гарнизон получил подмогу. С невероятным риском удалось отогнать немцев, и я в очередной раз проверил бойцов, разнес патроны перевязал как мог. Из тех, кто еще мог стрелять, осталось четверо. Мы обнялись, попрощались и приготавились к последнему бою. А война катилась на запад, к Берлину. И так хотелось остаться живым, многие из нас

ещё и девушек не целовали, а пережили столько, что и не выскажешь.

После короткого затишья под прикрытием танков на нас густо пошла пехота. Мы не стреляли, подпускали ближе да и патронов почти не осталось. Потекли последние наши минуты. Занозой в сердце жгла обида — все полегли, а мост не удержали...

И вдруг. Страшный грохот. Над нашими головами, сотрясая воздух, загремели крупнокалиберные пулеметы — подоспела помощь.

Вместе мы продержались до полудня, пока подошли главные силы. За эту операцию майор, который привел подкрепление, получил звание Героя Советского Союза, а мне уже после госпиталя вручили орден Боевого Красного Знамени.

Конечно, какой солдат тогда не мечтал получить три солдатских Славы. Они, хоть с виду, как медали, а приравнялись к Золотой Звезде Героя. Те же «Георгии»...

Но не за орден же мы жизни свои клали...

Генералиссимус

Солнце спряталось за точеную маковку недавно восстановленной похорошевшей церкви, и Михаил Григорьевич увидел, как на миг вспыхнула бриллиантовыми лучами диоквиная звезда, похожая на орден Победы. А волшебная нежно-зеленая лента заката опоясала горизонт с обеих сторон многострадального храма.

Еще мгновение и купол неба — бесстрастный свидетель людских неурядиц — из желтого, цвета листового золота, стал чернильно-черным.

Григоричу представилось, что сквозь прорехи черноты зияющими глазницами звезд подсматривает любопытный космос, надеясь узреть и на Земле нечто великое, загадочное, поучительное. Может быть, тоже смысл жизни ищет...

А он, ветеран Отечественной, свой смысл давно уже нашел. Ему перевалило за восемьдесят, шутя, он называл себя редким экземпляром, «реликтом», имея в виду то, что почти всех призывников 40-го года выбили еще в 41-м. А Михаилу «повезло» больше, чем младшему братану Сеньке, призванному в 43-ем и безвестно сгинувшему в белорусских болотах. Повезло больше, чем отцу, хлебнувшему лихо германского плена в империалистическую, а в эту вот погибшему в самом начале... Михаил был ранен не раз, трижды — тяжело. В госпитале его ставили на ноги и после короткой передышки — снова на фронт.

После войны женился, работал конюхом, лошадок любил, а к машинам его никогда не тянуло. Еще в госпиталях

полюбил музыку, приобщился к чтению, в молодые годы даже играл в колхозном духовом оркестре...

Проводив небесное светило на покой, Григории притворил скрипучую от мороза калитку и пошел глянуть на свою живность. Крутобокая, перед отелом, черно-белой масти корова Милка, любимица жены, перестав жевать, повернула к нему голову, словно спрашивая: «Где же хозяйка?»

По верхнему краю загородки, грациозно балансируя, проскользнула кошка Мурка, урча потерлась о плечо Григорича, требуя молока. Здесь была своя музыка, свой оркестр. Саксофоном, без сурдинки, мекал козел, ему вторил простуженным кларнетом гусак, умащивались куры, квохтали, нанизываясь на шампуры-наседы, не хватало только скрипичного цвирканья струй молока о подойник. В центре, на самом высоком месте, потряхивая щегольским малиновым, как берет спецназовца, гребнем, важно восседал его величество петух, негласный император скотного двора. Гордо посаженная голова в тусклом свете лампешки отливала золотисто-желтым цветом с черными крапинами. Пурпурно-коричневая спина плавно переходила в роскошный хвост. Его длинные изогнутые перья как дамасские сабли отливали вороненой сталью. Но красивее всего была выпуклая зелено-золотая грудь, на которой так не хватало орденов и медалей.

— Ишь, какой генералиссимус, — задумчиво пропел Григорий, поглаживая усы. — Хочь картину с него пиши.

Вернувшись в избу, отхлебнув пустого чая с вареньем, он взял двустворчатую новогоднюю открытку и начал письмо своей бабе Нюше.

При мысли о жене, дед сразу почувствовал себя одиноким и беспомощным. В письме он обижался на детей и внуков, мол, редко ходят, а если и придут, то: «Папа, дай!..» — Вот и пападаю...

— Плохо без тебя, тоскливо, скотина — и та скучает. Скоро ли ты оздоровеешь, и дают ли доктора то лекарство, како надо?..

Деду вспомнилось недавнее... Супруга готовила целебное снадобье от многих хворей. Григорич рьяно помогал. Стебли алоэ на мясорубке молот, мед размешивал, пропор-

ции выверял, правда, самогон бабка отмеряла лично. Поставили трехлитровку под кровать — темное место — на две недели, до созревания. И как случилось, что снадобье вдруг возымело невиданную власть над стариком, даже на хитрость сподобило!

Проколов капроновую крышку банки длинной тонкой трубкой, дед Миша не раз проверял готовность лекарства...

Но пришел и тринадцатый день: Ефимовна полезла под кровать, а потом был крик и даже плач ее. За многие годы жизни она впервые усомнилось в истинности любви своего благоверного.

— Не сердчай, Аннушка! Я ить тоже больной, — оправдывался Григорич. — Вон и во мне сидит эта проклятая риматизма...

Анна Ефимовна прижимала к груди почти пустую банку и молчала. Вскоре после ссоры она слегла, а потом ее увезли в больницу...

Поддавив в себе досадное воспоминание, Григорич приписал: «Аня, родная, прости! Я ить без тебя жить не умею... С Новым годом!»

Он знал, что завтра дети с гостинцами поедут к матери, найдут к нему и увезут поздравление... Взял хомутную иголку и суровой ниткой, чтобы уберечь от постороннего глаза, сшил обе половинки.

Уронив голову на руки, сидя возле стола посреди избы, ветеран заснул безмятежным сном праведника...

Ему снился сенокос. Молодая Аннушка в кружевном платье и сам он, чубатый и статный. Давний восторг молодости, силы, полноты жизни охватил его настолько, что он запел во всю силу легких и... вдруг, почувствовав за своей спиной мощные крылья, закричал баритоном: «Ку-ка-ре-ку!» — и проснулся...

— Ку-ка-ре-ку! — кричал петух.

— Тьфу ты! Уймись, крикун! Ну, настоящий ГЕНЕРАЛИССИМУС!

А ить, впрямь, говорят, он нынешнего года символ!

Караван и шакалы

Покров. Переменчивая октябрьская непогода лихо крутит снежные спирали, залепляет лобовые стекла машин, забивается под одежду, румянит щеки и бросает в дрожь.

У моей будки, в затишке, хоронятся два словоохотливых дядьки.

— Ты вот, образованный, рассуди. Почему это у нас теперь ворьё, жульё, отребье всякое наружу повывлезало, как крысы в половодье, — вопрошает толстоусый, похожий на Бальзака, пенсионер. — О них все говорят, пишут, по телику размазывают, а вот раньше, на путях к светлому будущему, мы их почему-то не замечали?

— Да потому, — ехидничает собеседник с тюркским разрезом глаз, в пятнистой одежде, крепкий, как саксаул, — что они были всегда сзади. А когда караван разворачивается в обратную сторону, то впереди — хромой верблюд и преследующая его стая шакалов... Они теперь на виду, в моде да и порулить пристраиваются.

Клиенты ушли, а я два часа, не отрываясь, корпел над часами. Чтобы дать отдых глазам, уперся взглядом в угловой дом — купеческой постройки, с круглой, без коньков крышей, с толстенными наличниками и широченными перилами... Говорят, здесь в гражданскую Колчак квартировал, а теперь это улица имени Фрунзе. Оба военачальника — смертельные враги, пеклись о судьбе России...

Вдруг из проулка, словно крадучись, высунулась ядовито-черная иномарка и, коротко сигналив, остановилась недалеко от автобусной остановки. В машину на заднее сиде-

ные, боязливо озираясь, сел черноволосый тщедушный юнец в тяжелых турецких ботинках, короткой американской куртке до пупа, но с меховым воротником, и в черной вязаной шапочке.

В кабине, кроме настроенного водителя, уставившегося в зеркало заднего вида, царственно, как на троне, восседал скучающий тиран, супермен, этакий кавказский Шварцнегер. Неподвижное лицо, лишённое мягких закругленных черт, походило более на маску. Надбровные дуги, заменяя лоб, поражали своей мощью, выше была только стрижка. Квадратная челюсть смахивала на каблук, которым можно было забивать гвозди. На правой руке мерцала тяжелая печатка, но и она не могла отвлечь внимание от страшных невидящих глаз.

Через лобовое стекло было видно, что он сначала ругался, не поворачивая головы, остервенело махая руками перед собой, как это делают южане в сильном гневе, потом, дойдя до последней степени ярости, начал бить юнца по голове и лицу, и опять ругаться и трясти руками. Тот, опустив голову, покорно принимал сыпавшиеся удары и молчал. Водила все так же не отрываясь, следил за окружающей обстановкой. Минуты через три экзекутор остановился, видимо, выдохся. Кончил кричать и бесноваться, как прерывают, трудную, но обязательную работу. Выпив большую соску пива, вытер пот со лба, отдышался и закурил. На лицо его снова легла маска презрения и безразличия. Юнец вывалился из машины, скребнул дрожащими пальцами комок снега и прижал его к окровавленному глазу...

Резко взяв с места, иномарка скрылось за углом. Невольно подумалось, что где-то рядом, параллельно или... перпендикулярно течет другая, тайная жизнь, где свои законы, свой праведж, свои паханы и шестерки, свои жертвы и палачи, своя голая правда и неотдетая ложь...

Быть может, это теневой контур нашей жизни, мрачный негатив. Там есть все, кроме доброты. Этот страшный мир все более внедряется, вламывается и в наше суетное существование... Что если они когда-нибудь подчинят себе ВСЁ? Не дай Бог!

Курящий бог

Долбит Демидыч ломом лёд во дворе и весну костерит: несуразная какая-то, не может зиму перебороть. Днем ручки наяривают, а ночью так примораживает, что прошлогодний лёд, как бетон стародавний и пешней не укулупнёшь. Оно и понятно — весна, она днём красна. Тюкает, а сам думает: «Ну и времечко подкатило. Президент совсем свой теннис забросил, ракетку в руки не берёт, в Америку поехал и даже там “забурел”, не удержался, переживает. Видно, дела не в нюх да и перевыборы не за горами. Трудно им там наверху, копотно, но и у нас тут не лучше. У соседа вчера вон корову из стайки среди белого дня увели и не мыкнула. У другого соседа колёса с “копейки” сняли. Выходит он утром во двор, а машина на кирпичках покоится и волкодав рядом, хвостом повиливает. Особо и не гавкал. Они ему ножку свиную кинули, он и сдался. Голодный же, хозяйева сами на овсянке сидят. Время како-то зашнурованное. Внутри державы пока, безбурно, всё где-то на окраинах зудится, хотя всего-то не доказывают, а льется, видно, там кровушка наших пацанов и немалая. Оттого и всю душу покарябало?»

Вдруг к воротам подъехала машина и громко залаяли его верные сторожа Джим с Барсиком. Отворилась калитка и вошли три странноватых типа, все без шапок. Один, корявенький, как гриб-сморчок, — сосредоточенно курит, будто что-то важное делает, ослабилась, подошёл к хозяину, руку тянет, вроде, как поздороваться намерен. Другой, с окованным дипломатом, пухлый, как подушка, у забора, на взгорочке встал, как Мамай при Куликовской битве. Третий,

поджарый, цепкоглазый, цепочку длинную с лезвием на пальце крутит — хитрое оружие, стал посередине. Переглянулись и на Демидыча уставились, будто к приступу изготовились.

Какой-то тревогой повеяло и муторно стало. «Как-то не по-людски они ведут себя», — думает хозяин двора, но вида не подает, железякой поигрывает, наивно веря, что против лома нет приема. Ждет, что дальше будет.

Тот, что с цепочкой, безо всяких церемонии, будто его детей вместе крестили, спрашивает:

— Ты живого Бога видел?

— Не, не доводились, — отвечает Демидыч настороженно, — только на иконах.

— Ну вот погляди, живой Бог! — и показывает на корявенького с сигаркой. Вытаращился на него Демидыч и хмыкнул. Плюгавенький, гололицый, ни усов, ни бороденки, да они и не прижились бы из-за чрезвычайного редковолосия. Куценькая куртешка на нем из кожзаменителя, джинсы вытертые на коленях, белесые сапожонки скособоченные — всё это более отталкивало, чем притягивало. Сам он, вероятно, этого не понимал, буровил собеседника своими лешачьими зенками, пускал дым колечками и ждал почитания.

— Да ведь он на истукана похож, — возмутился Демидыч, отогнав свою оторопь.

А ты поверь, Христос таким же был, простым и неприметным, вешает он лапшу на уши, превращая собеседника в дремучего, тугого на сообразительность мужлана.

— Бог — это святое, а вы страмоту разводите! — Взрывается Демидыч, — чувахлая прокуренного откопали! Мотайте со двора да поскорее. Видя, что дело принимает негодный оборот, новоявленный идол выплевывает изжеванную сигарку, роется в карманах, достает пачку новеньких хрустящих сторублевков и подает одну Демидычу.

— Возьми, — выдавливая он с издевкой, — ты, видно, сутяга, — на деньгу жадный. Купи на халяву водки, колбасы, хотя ты же скопидом, в чулок положишь и под матрас.

Такое хамское поведение окончательно взбесило Демидыча и начало корезить. Еле сдерживаясь от нестерпимо-

го желания шмякнуть обидчика — ломиком, он предупредил:

— Я ведь могу и собак спустить. А бабки свои поганые спрячь, они у тебя, видно, дурные и в подачках я не нуждаюсь.

— Это не подачка... — юлит он, — подпиши этот документ и мы уйдем, — И протягивает лист бумаги с плотным текстом и официальной шапкой.

— А что это за знак? — тычет пальцем Демидыч, — свастика, что ли? А так вы за фашистов голоса собираете! Приехали!

— Что ты несешь? Какие фашисты? Надо Россию любой ценой спасать! Раб Божий! Бери сотню и подпиши бумагу, сделай свой первый шаг к спасению России. Че мало? Две? Три дать?

— Ты что ж покупаешь меня? Если ты сейчас не уйдешь... — вскипает Демидыч.

— А, не подпишешь? Ну гляди! — И он ожесточенно рвет купюру на мелкие кусочки. Обрывки швыряет на лавку и бурча непотребное уходит, разворачивается, но натывается на поджарого, тот что-то ему шепчет, показывая на уничтоженную сотню. Плюгавый возвращает ся, быстро собирает обрывочки все до единого и быстро всей кодлой выметаются на улицу.

«Уж не рисованные ли у них знаки, — думает Демидыч. — Так легко с ними расстаются, будто они ничего не стоят и следы бояться оставить». Не успели они выйти за ворота, навстречу два бомжеватых клиента — к Демидычу. Один шербатый, другой — с синяком под глазом. Растягивая рты в просительной улыбке, кивая в такт головами, как селezni, просят взять пару сломанных часов за пятерку, не хватает на пузырь.

Видя, что часовой мастер отказывается от сделки, в разговор внезапно вступает неудачливый кандидат в богочеловеки. То ли пытаясь досадить Демидычу, то ли планируя завлечь их в свои политические тенета, он сразу же, не торгуясь, предложил им плату в три раза большую, чем они просили. Бомжи, перестав кивать головами, недоуменно с

ног до головы оглядывают этого сумасшедшего чудака и пытаются понять его выгоду. На их опухших физиономиях появилось несвойственное им напряжение — решалась непосильная для угарного ума задача. Видно, как удивление переходит в тревогу. В их мире существовали только волчьи законы и они от плюгавого ждали: только подвоха.

Тот, видя их нерешительность, накидывает ещё два рубля и те окончательно уверяются, что их куда-то упорно заманивают. Нутром своим они чувствуют опасность, но никак не могут понять, откуда она может исходить. Наконец, взгляды бомжей упираются в голубой «жигуленок», стоящий неподалеку, а из него следящие две пары настороженных глаз. И, хотя корявый накидывает еще пятерку, продавцы выхватывают свой товар и скрываются за углом.

Зло хлопнув дверцей укатывают незадачливые агитаторы и эта история стала забываться, но вскоре друг Демидыча, Андрей Евгеньевич, учитель географии, поведал продолжение этого водевиля:

— Веду урок, вдруг с треском открывается дверь, вваливается тот плюгавый тип и, не обращая внимание на учеников, орет, мол, бросай школу, сейчас не до этого, хватай свою видеокамеру, поедем в деревню, там ожидается митинг протес та, будем Россию спасать. С помощью директора этого одержимого разгильдяя выдворили, но урок был сорван.

А тут встречает Демидыч двух знакомых преподавателей местного вуза и они с радостью сообщают, что идут устраиваться в архив нового русского за приличные деньги. Работодателем был тот же одержимый сумасброд.

Весна — нервное время года... Вместе с началом сокодвижения возбуждаются люди с неустойчивой психикой, шепчутся малахольные всякого рода и будоражат снующую публику.

Вот и разберись, кто они? Пассионарии или обычные психопаты.

Миг свободы

Если б заранее знать как сложится жизнь...

Сижу в своей мастерской, чаек правлю. Подбегает шустрый жилистый малый, запыхался, будто за ним гонятся. На бровях кепочка почти без козырька, взгляд хваткий, как крючок самолова.

— Братка, послушай внимательно. Только освободился, лет пятнадцать котлы не носил, обходился, а тут время другое, свободное, сделай какие-нибудь, хоть из хлама, хоть плохонькие. Я здесь на стройке вкальваю, денег пока нет, краской рассчитаюсь. Тебе какой цвет подойдет?

— Да не надо мне никакой краски, тем более краденной.

— Ничё, ничё, думаю салатный цвет тебя устроит. Через недельку подскочу. Лады? — Не дожидаясь ответа, дурашливо сделал под козырек и испарился.

У меня не было опыта общения с бывшими зеками, а его приветливость и незлобивость не настораживали да и сочувствовал я ему по незнанию, мол, вину свою искупил и теперь начнет жизнь на воле по новому, свободному времени.

Порылся я в загашнике, поворошил фурнитуру, нашел старенький, выносливый механизм, почистил, присандалил к нему свеженький циферблат, корпусишко, проверил на точность, получился неплохой счетчик времени. Прошла неделя, месяц, два или три года, заказчик так и не появился. Тогда я подумал, что краткий миг свободы для него оказался губительным, сгорел, как мотылек на костре. Положил я часы странного заказчика в дальнюю ячейку и забыл про них.

И вот однажды он заявляется. То же бесцветное, незапоминающееся лицо, такая же выцветшая курточка, и без прединсловий, будто только вчера виделись:

— Ну, как мой заказ?

По особому напористому норову, по бегающему царапающему взгляду узнал его сразу.

— А как краска? — щучу.

— Знаешь, тогда не получилось, — серьезно докладывает он. Подрядились мы к одном азику на объект. Ночлег обещал, питание и полтинник на день. Я каменщиком могу. Первую неделю отработали нормально, потом дал только по четвертаку на день, затем червонец, а потом вообще перестал платить. А кормежка... сечку без маргарина сварит, в горло не лезет. Нас на зоне лучше кормили. А кому жаловаться? Работнички-то все аховые: кто освободился, кто бомжует, без документов. Вот и найди правду без прав. Ну я поднялся, ребята поддержали, всё хозяину высказал. Вечером, после работы меня два битюга зажали, хотели покалечить, но махаться-то я умею, научили. Одного вырубил, другому кровя пустил... Хозяин позвонил. Приехали, забрали, снова сел. Ну вот теперь ищу фермера, в поле поработать да подкормиться на вольном воздухе. Я всё могу, и на тракторе. Бывший танкист, в Германии служил.

— Ну, а как же тебя угораздило залететь, — вырвалось у меня, что ж ты такого натворил.

Он как-то дико глянул на меня, словно, получил удар изнутри. Таких вопросов ему, видно, давно не задавали, но этот страшный застарелый нарыв, вероятно, всегда напоминал о себе и он, помолчав, решил раскрыться свежему человеку.

— Да я до сих пор не пойму как это получилось, — начал он не хотя. — Служил, как играл. Подвижный был, спортом занимался, до командира танка дослужился. Пришёл домой. Обмундирование с иглопочки, всё надраено. Родня встретила, праздник, гулянка...

Девчонка мне одна понравилась, такая шkodная юбочка на ней, ножки... в общем, Дюймовочка. Идем компанией по улице.

Раньше я не пил, а тут, дядя пристали, ты, мол, теперь дембель, давай. А к девчонке моей какой-то долговязый подкатился и уводит её. Мне это не понравилось, развернул его к себе и под дых, а он упал и готов. У него сердце было больное. Девчонка как закричит: «Убили! Ты ж моего брата убил!»

Мне бы повиниться да и дядя бы отмазали, в чинах были. А я дёру, чемпионом же дивизии был по бегу. До сих пор не пойму на что надеялся. На другой день нашли, шум подняли, суд, не отвертелся. Первый срок отсидел. Потом, из-за дурного своего характера, второй раз вляпался, третий и так далее.

Мне вот завтра пятьдесят стукнет, а я двадцать шесть лет отсидел. Если бы тогда не струсил, может всё бы и обошлось, неуверенно тянет он. — А теперь решил, хватит. Надо новую жизнь начинать. Займи на автобус, я обязательно отдам, надо к фермеру съездить.

Опыта моей жизни не хватало, чтобы понять, осмыслить суть этого, вообще-то страшного и несчастного человека. Наверняка он многое приукрашивал, многое скрывал, но искреннее его признание подкупало.

Меня ещё в юности дед предостерегал: никогда никакого дела с таким человеком не имей. Попадутся — ты соучастник, но я ж только займы ему давал и, разумеется, без отдачи.

Прошло ещё дней двадцать, заявляется. Вид плачевный, куртка грязная, зарос щетиной, глаза потухшие.

— Как дела? — спрашиваю.

— Как у картошки, если зимой не съедят, то весной посадят.

— Фермер как поживает?

— После пяти лет заключения наступает деградация личности сдался — пропал. Это я о себе.

— Так ты не ездил в деревню?

— Обстоятельства помешали. Автобус отменили, стал ждать утра. Жарко, лег в зале ожидания. Подходит мент:

— Ты что здесь разлегся?

— Отдыхаю, — говорю, — по Конституции имею право.

Ну долго он не стал разговаривать... Проверили, какие-то там отпечатки пальцев откопали. Ну я знаю, у меня всё

чисто. Пока они что-то там искали, я у них отоспался на постели, в душе каждый день мылся. Имею право. Все дворы им вычистил, весь прошлогодний хлам из углов повымел, как на зоне порядок навёл.

— На что ты живешь-то? — прерываю его.

— Кот мышей ночью ловит, — отвечает он, ухмыляясь.

— Что-то ты затомился.

— Ну дак че, родных не осталось. Одни умерли, другие отказались. На работу не берут. Зона осточертела, выход один... А как бравурно все начиналось. Хотя к тому фермеру надо добратся. Дай на дорогу, верну втрое больше. Не веришь? Ну, в последний раз.

— Да верю, верю. Езжай с Богом.

В его выцветших глазах, в мимике, в жестах было столько надежды, убежденности, что ему трудно было не поверить.

То ли он так мастерски играл, то ли действительно верил в свое призрачное благополучие, но я почти поверил. Не торопясь, с подчеркнутым достоинством, взял он деньги.

— Ну я за билетом. Все. Уезжаю.

А спустя неделю мне пришлось быть на вокзале. Когда я подходил к перрону, с лавки вдруг сорвалась знакомая фигура в замызганной куртке, с черной сумкой и, втянув голову в плечи, стараясь быть неузнанной, прямо через газон вломила в кусты акации и скрылась из виду.

Видно замкнутый круг своей изуродованной жизни — отсидка, краткий миг свободы и опять отсидка — разомкнуть он уже не мог. Деградация — с...

Мармеладов нашего времени

Зябкое утро. Пронизывающий ветер сердито заворачивает хвосты сорокам, сидящим на проводах, рвет космы дыма от соседской трубы, гонит по улице забредшее со степи беспутное перекаати-поле.

Показался молодой, хмурый мужчина с ржаво-небритым лицом лоснящаяся куртка из кожзаменителя нараспашку. Уже пьян или с похмелья, дух от него — хоть закусывай... за руку держит остроносенького, лет девяти, пацана с заплаканными глазенками.

Взрослый, виновато улыбаясь, косноязычит без предисловий:

— Дай денег на хлеб, хоть на одну булку, — сует несколько облезлых чайных ложечек, — серебро... одна, правда, обгорелая...

Пытаясь поймать его взгляд, заглянуть в глаза, но он упорно клонит голову долу. Из дому последнее тащить пока ещё стыдится.

— Мамка-то у вас есть? — обращаюсь к мальцу.

— В больнице она, в ри-ни-мации... — картавит тот.

Отталкиваю ложки и, жалеючи мальчонку, протягиваю червонец. Сорванец, опережая отца, вдруг выхватывает деньги, зажимает их в кулачок и улепетывает в сторону хлебного магазина.

Проситель недовольно поворачивает голову вслед убегающему, но не уходит. Я молча наблюдаю за ним, и в голову приходит нелепая мысль: а не использует ли он сына как подсадную утку, для сострадания...

— Ну что? — Проморгал?! — бросаю я, — Пацана-то не кормишь? Он же тебе потом припомнит...

Отец недовольно; хмурится, а я продолжаю:

— Ты Достоевского читал когда-нибудь — «Преступление и наказание»? — озадачиваю его.

— Чего-о? — недоуменно поворачивает он голову.

— Мармеладов там есть, тоже запоями семью сгубил.

— Ну это Вы, ты зря. Не такой уж я конченный. Целый месяц могу не пить и полтора, — хвастает он. — А тут вот жена попала в кардиологию с работы слетел... и покати-лось...

— Знаешь, что тебя ожидает самое страшное? — Не гибель!

— Ну-у?.. — теряется он.

— Когда от тебя, старого и больного, отвернется сын, и навсегда!

Собеседник меняется в лице и уходит, а я думаю о мальчике: не дай Бог, если пойдет по дорожке отца...

Пытка

С утра просеял ласковый, мелкий, будто сквозь частое сито, дождичек. Иссохшая земля не напилась, а только слегка охладилась...

С пригоршней полуразобранных часов подошел Игнатьич — седой, словоохотливый клиент, можно сказать, старик, хотя, когда сам приближаешься к почтенному возрасту, видишь больше, глубже и невольно начинаешь различать стадии старости и ее причины.

Знакомцу моему было не более шести с половиной десятков, но сутулая фигура, изможденное лицо и свистящее дыхание говорили о несладкой жизни и, если б не васильковые смеющиеся глаза — знак внутренней силы, он был бы неприметен.

— Чего смотришь? — опередил Игнатьич мой вопрос. — Дыхание тебе мое не нравится? Сейчас поправим... — И достал из кармана малоношенной, для выхода в город куртки, стальной цилиндрик с красной грушей, направил хоботок в рот, два раза пшикнул и, помолчав, начал:

— Не удивляйся: у астматиков такой вот пистолет, без него никуда: аэрозоль кончится — и самому каюк... Да оно уж и так чуть жив остался...

Живу я у аэродрома — место для старичья не совсем удобное, анчутки эти вертлявые день и ночь гудят: то взлетают, то снова садятся, пыль поднимают, шум. Но попривыкли маленько, и даже пользу какую-то выгадываешь: знаешь, что рядом кипит, варится жизнь, ну и тянешься, а когда тишина, непогодь али дни нелетные... оно даже и не спится.

Гм-м... О чем же это я хотел?

Ах, да, старуха моя в тот день в свою фазенду ночевать укладывала: кошек, собаку покормить да огород полить, огурцы собрать.

А петух стал перед окном и ну базлать — что ему вздумалось в неурочное время хай поднимать? Куры к насесту потянулись, а крикун не унимается. Я его отгоню, а он опять. И орет во всю мочь... Ох, не к добру это, думаю. Прикажу вот завтра старухе на лапшу тебя истребить, доукарекаешься... Мы с ней сошлись недавно, моя-то Пелагея померла. Так вот и живем на два дома. Она свой продать не может, или не хочет, моих наследников боится. А я свой не хочу продавать, мой-то лучше, да опять же — её наследники... Вдруг она раньше уйдет? Они ж меня раскатают.

Смеркалось... «Поле чудес» маненько поглядел да и спать лег пораньше — устал что-то сильно, буря магнитная, али натыркался за день, да и ветер с ГРЭС весь день — неподых.

Под яблоней что-то хрустнуло, и такой повеяло жутью, словно кто из темноты смотрит. Я окошко закрыл, свет погасил, еще и заснуть не успел. — Тресь? Стекло вдребезги, вламывается черная фигура и на меня. Видно, в окно подглядывал, ждал, когда я спать лягу. Одеяло на голову и давай душить! Руки жесткие, сильные, паучьи.

А я-то и испугаться не успел, дышать-то уже не могу, а голова ясная. Чувствую, конец приходит. Вся жизнь, как в кино, снова промелькнула. В голову всякое полезло: виноватым себя почувствовал, что жену первую не сберег. Уж больно на работу она была охочая... Вот и сгорела... А я все время вторым был, за ней тянулся, никак не мог ее опередить... или не хотел... Дорогу торила всегда она...

Ну это теперь я долго рассуждаю, а тогда все шло мгновенно. Ноги из-под одеяла опростал да и пнул его в бок. Да че там: нога-та босая, стариковская. Он чем-то тяжелым по голове шандарахнул, ну, я и обмяк.

Очнулся, руки-ноги связаны, свет тусклый от луны. Бандюга в шкафу шарится, все белье выкидал. Мне бы молчать, а я, дурак стоеросовый, матькаться начал. Ну, он слы-

шит, что я очнулся, шариться перестал, утюг включил и — мне на спину:

— Где деньги?

А я корову продал, старая стала, резать-то самому жалко, кормилица была, по ведру молока надаивали... Утюг раскаляется, жжет, терпения нет, ору благим матом... А он опять:

— Говори, где деньги?

«Черт с ними, с деньгами, — думаю, — сожжет ведь спину, гад».

А он уж и сам догадался: сунул руку под подушку, пакет с деньгами нащупал, за пазуху бросил, потом от ног часть веревки отмотал и на крюк в потолке накинул. Мы за эту железку зыбку детскую цепляли, детей укачивали: трех сынов вынянчили. Один в Афгане погиб, другой на машине разбился, третий — на Север подался...

Подтянул он веревки (сильный же, собака) и оказался я вверх ногами: плечи на подушке, а ступни под потолком. Думал, что я от кровоизлияния кончусь. Узел покрепче затянул, в окно вылез, даже и пес не гавкнул. А уж светать стало, за окнами посерело. Висю, думаю, третий раз за ночь помираю, ну, уж теперь-то, наверняка... Старуха утром за свет пойдет платить, да еще в очереди постоит, и до сберкассы недалеко, часам к двенадцати прикантует, не раньше. Я уж и закоченею. Спина горит — сплошной волдырь, ноги занемели, голова свинцом наливается. Ну, думаю, полчаса, а, может, час выдержу, тренированный же.

Внук ко мне как-то приезжал, йоге обучал, по утрам на голове стоять: кровь, говорит, не застаивается, омоложение происходит, и внутренние органы на места становятся. Но все равно, полдня-то не выдержать, кричи — не кричи — кто услышит: окно, хоть и разбито, так в доме глухо, как в погребе.

Голова кровью набрякла, спина онемела, вроде даже и легче стало... Ну, думаю, скоро и конец, отмучился. Жаль сына да внуков напоследок не увижу, и смерть какая-то позорная — вверх тормашками...

Дергаться стал, может, отцеплюсь, да где там: узлы еще туже затянулись, перед глазами круги оранжевые завертелись. Оно... вроде чувствую, что последние минуты доживаю, а не верится. Ну, не верю и все. Какая-то надежда теплится, вот-вот что-то случится...

И случилось!

Старушка моя, милая! Одуванчик мой благоуханный! Встала ране, пошла за свет платить, да вспомнила, что показания счетчика не записала, и бегом ко мне. Зашла во двор — окно чернеется разбитым зевом. Охнула, в дом забежала, а я еще дёргаюсь. Говорить не могу, язык не ворочается, только мычу.

Она нож схватила, веревки перерезала... Еще бы чуток, и хана.

Милиция приехала:

— На кого думаешь?

— Не знаю, — говорю, — темно было, лица не углядел.

Ищите!

Они покопошились немножко, осколки стекла проверили, отпечатков нет, собака след не взяла, на том и кончилось.

— Будем искать, — говорят.

А че искать-то, если он живет через три дома от меня наискосок... Отпетый, после третьей отсидки сил набирается, профессионал, вежливый такой, Зверюга. Ну, укажу на него, заберут, подержат, да ведь отпустят, улик-то нет. Они не докажут, а мне с ним рядом жить. Пришьет втихаря, и пикнуть не успеешь. А чего ты хмыкаешь? Не веришь, поди?

Кряхтя, поднимает рубаху — во всю спину сплошным кровоподтеком багрово-красное, с черными подпалинами жуткое пятно и, застегивая куртку, словно извиняясь, добавляет:

— А петуха до сих пор берегу. Вещая птица!

Тройной взгляд

Перед новым годом копаюсь в гараже. Один. В проёме дверей появляется фигура в расстегнутой дублёнке, кожаной кепке набекрень. Слабым извинительным голосом вопрошает:

— Мужики! Сколько сейчас времени?

— Три с полтиной, — отвечаю.

Кепка топчется на месте, напряженно вглядываясь в глубь гаража.

— Мужики, вы чё, близнецы? — удивляется он.

— Пардон, ты о ком, — недоумеваю.

— Да о вас же, — усмехается он, — ишь все на одну колодку: лысенькие, усастые, даже куртки одного цвета подобрали. Я в первый раз тройняшек вижу. Такая редкость, — заканчивает он радостным голосом, — может познакомимся...

«Ветеран»

— Чего ты билет покупаешь? — допытываюсь я у знакомого пенсионера, садясь в автобус, — ветеран же?

— Нет. У меня жена — ветеран. Она в конторе, возле начальства тёрлась на виду, вот и получила.

А я чё? Завел машину да уехал. Где-нибудь в степи заглохнет, проковыряешься под ней весь день на морозе... Кто видит? Начальство далеко...

Цена жизни

Низкое негреющее светило катилось над самым окоемом, выбирая место для заката. Розовобокая сорока на бреющем полёте торопилась к своему ночлегу...

У подъезда пятиэтажки, на лавочке, три соседки анализируют ушедший день. Справа, у кустов шиповника, дородная Игнатьевна, бывшая парикмахерша, в ярком халате и в фиолетовых кудряшках. Живет на пенсию, сдает жилплощадь зажиточным студентам, являясь одновременно и гувернанткой, и тайным агентом родителей квартирантов, делится своими наблюдениями:

— Мой-то опять ушел из дома чуть свет. А я сплю чутко, слышу: замок клацнул. Глянула — пять часов В такую-то рань. Не на рыбалку же, думаю... А потом дозналась... В рулетку (!) играет. Там ить круглосуточно, и от глаз укромно.

Мать-то его мне позвонила (на северах живут) — токо вот выслали ему червонец? — просит еще — на месяц не хватило, мол, книжки, тетради, экзамены, зачеты — деньги утекают... А врет! Все в казино спускает. Еды-то они ему понавезли — весь холодильник забили.

— И балыки, и красная рыба, и икра — я за всю жизнь такого не едала. Ну, платят регулярно. — Шут с ними! Да, с детьми щас так, — вмешивается Порфирьевна — набожная старушка, переехавшая из деревни к дочери на доживание, — А сын-то баб Ани совсем переродился, — как мать заболела, не пьет, здороваться начал, даже у церкви, надесь, его видела! А ведь каким был? — Совеем было спил-

ся, не просыхал, да и на мать руку подымал — денег требовал. Вишь че с людьми деется, Господи! На глазах меняются...

— Поменялся, как же, пёсья морда! — возразила молчавшая до того Фадеевна, отдавшая здоровье сапоговаляльной фабрике.

— Че мать-то теперь бить, она уж не встаёт, да и не встанет, поди... Спасибо, хоть соседи подкармливают: кто бульона принесет, кто картошечки... Знает, стервец, — мать уйдет и пенсию с собой унесет. А она до последнего подрабатывала, бралась за такое... покойников обмывала, одевала, все ритуалы соблюдала. Сама-то тонюсенькая, как свечка, в чем только душа держится, никогда не пожалуется, а вот тут как-то шли попутно, призналась! Сын не робит! Никогда, говорит, не работал и работать не буду! — Дочь в Беларуси. Зовет, дескать, продавай квартиру, я тебя заберу. А че я туда поеду. Здеся мужа скаранила, могилки, да и мордовка я, че мне там — в Беларуси-то? А куда этого охломона девать? — На мою пенсию живем...

Ногу вот тянет... В больницу не пойду. Кому я там нужна? — Восемьдесят второй идёт, скажут: «Бабка, ты уже своё отжила...»

— А вот и он, легок на помине, из-за кустов показался, — понизила голос Фадеевна. Морда вся в шрамах, а здоров, как бугай, ногу ставит крепко и телом не изроблен. Мать уйдет — ему прямая дорога в бомжи. Вот и присмирнел...

— Она-то для людей жила, сколько горя вынесла, — добавила со вздохом Порфирьевна, — сказывала она мне, что в войну — и с ранеными была, и на торфозаготовках, в стужу, по колено в воде, как только и сдюжила?! А этот? — Сдохнет, зароят, как бездомную собаку, никто и не вспомнит. — Зачем родился?

«Садисты»

Квадратная будочка мастерской под широкополой шляпой жестяной крыши высматривает клиентов, выпнувшись из забора, на одной из тихих улочек старинного городка.

Сзади, со двора, её подпирает распушённый куст белой сирени, дымящейся благовонным сиянием. Сбоку золотой колонной, уходящей в раскидистую крону, сосна-вековуха. Она помнит ещё и проводы первого хозяина дома, есаула, на далёкую русско-японскую, и бешеную гражданскую, и тайные аресты 37-го, и похоронки Отечественной, и болтливую перестройку, и теперь вот непредсказуемую реставрацию прошлой давно утерянной жизни. По дорожке к дому-крепости в середине двора, густо разросся конотоп да подорожник, пахнет деревенской затерянностью и покоем. А вокруг в стародавних домишечках доживают полунисице пенсионеры с вечными заботами о дровах, угле, лекарстве. Питание-то у них самое здоровое: набор всевозможных круп, уха из давно замороженной селёдки да чай из трав.

Правда, теперь часто кличут на поминки: то родичи, то сослуживцы уходят, вот там и подадут и накормят...

Кто не стесняется так ещё и семечками приторговывает, все ж приварок к пенсии. У кого спина позволяет и в голове при наклоне не шумит — огородничают, сад держат. Риск, конечно, изрядный, не считая ежедневной физзарядки, да если рассаду морозом не побьет, если воду подведут из ещё неразворованных труб, если в огород не залезут, если уродится, то можно и впрок наготовить да кое-что и на продажу

вынести... Но сколько тысяч раз надо склониться, присесть, ничего не забыть и главное — успеть на остановку.

«Садист», как они себя называют, с машиной — роскошь. Да и содержать её становится всё дороже, и остаётся одна надежда — автобус, а он по расписанию ходит. Вот и приходится излаживать старенькие часишки, пока мастера ещё не повывелись. У молодых-то время по «сотуку», им часовщик не нужен. Вот и сидит часовой мастер в ожидании «садиста» с часами, отбиваясь от осаждающих бомжей, предлагающих ржавые будильники со свалок за пять рублей. А то озабоченные молодые наследники приволокут найденные на чердаке допотопные «Мозеры» двухсотлетней давности, штучного изготовления, — с гирями и деревянными платами, простреленными пулями гражданской. То знакомый заглянет или сосед: свои люди — сочтемся. Вот и приходится только на «садистов» и надеяться. Самые надежные люди!

«Цезари» за рулём

За сто лет до нашей эры Юлий Цезарь, римский император, полководец, оратор был славен и тем, что мог *одновременно* писать, читать, вести беседу и отдавать приказания.

Минуло два тысячелетия и мы стали свидетелями, как современные нам водители многочисленных «маршруток» играючи превзошли великого Цезаря.

Любой из них *одновременно* принимает плату, вычисляет в уме и дает сдачу, внимает заявкам пассажиров, выявляет «зайцев», лузгает семечки, беседует по сотовому телефону, любезничает с миловидной соседкой в кабине и ещё умело ведёт машину по весьма оживленной ухабистой улице.

Все же как долг путь к человеческому совершенству.

Брутто-нетто

Привез я как-то на своей «Окулине» металлолом сдавать. В гараже от старых утюгов, плиток, китайских часов, железок от «Запора» — ступить некуда.

В очереди передо мной, мотоцикл: железа в коляске выше головы, амортизаторы до упора просели, днище аж по земле волочится. и «Урал» этот весь какой-то скособоченный: краска ободрана, на крыльях ржа змеится, колеса в закаменелой грязи: в общем, не машина, а как бомж, как сирота горемычная.

А у меня дружок старинный, Филиппычем кличут: по машинам, можно сказать, настоящий профессор. Любой двигун по звуку диагностирует. Станет, глаза прижмурит, послушает и пошел выдавать. Какой клапан стучит, где пальцы хлябают, почему тяга плохая, в каком цилиндре компрессии нет: все, как на ладошке тебе разложит. Вот он меня и поучал. В каждой машине, мол, душа присутствует. Ты к ней, как к жене своей относись: приласкай, слово доброе скажи, смажь вовремя, гайки подтяни, и она завсегда тебя выручит, Лихач тебя обходит, уступи, не гони, пусть на штраф нарывается. Хорошая тачка, она, как гончая, и ГАИшника на расстоянии чует.

И вот стою я и думаю: «Бедная машина, как она такой груз выдерживает. Да и ехать-то боязно, вдруг на голову железяка какая сварганится».

Въехал он на весы, отметился, развернулся перед горой металлохлама, быстро скидал обрезки труб, куски жести, какие-то промасленные кирпичи. Зыркнув по сторонам, до-

стал вместительные, на два ведра канистры, скосив глаза на уехавший в дальний угол потолочный коршун-кран, зачем-то стал выливать воду. Опростав посуду, бросил ее в люльку, прикрыл брезентом и на весы, уже порожняком.

Я тоже сбросал свои утюги и опять в очередь за ним, деньги получить, покосился в его квиток и аж свистнул.

Мне — двести, ему в два с половиной раза больше. Я привез на легковушке с убирающимися сиденьями, он — в люльке.

Сообразительный. Сдал литры, получил за килограммы. Деньги за пазуху, с крыльца бегом, прыгнул в седло, с ходу полный газ. Торопился, как будто боялся чего-то.

А там дорога круто вниз да еще выбоина глубокая, Ему бы прямо проехать, а он резко вправо, ну и перевернулся. Люлькой накрыло, еле живого вытащили. Как говорится: «Бог шельму метит»... А может техника ему отомстила за небрежение.

Факсимиле

В крохотной сберкассе, что у старого моста, за присутственным столом на расшатанном стуле сидел убеленный сединой человек, выводил на бумаге непослушными ревматическими пальцами одно и то же слово — свою фамилию, тренировался и плакал.

Когда-то, лет пятнадцать назад, он денег подкопил, хотел домишко свой перебрать, сэкономили с бабкой на всём. Скопили, а тут как раз «рехформа», будь она неладна. Усохли деньги, пропали... Теперь деду за восемьдесят. И прознали они, что вклад вроде могут вернуть. Не весь, далеко не весь, всего-то восемьсот рублей, а все же кровное, трудом накопленное...

— Делов-то, — уговаривала бабка, — прийти в сберкассе да расписаться.

Вот тут-то закавыка и вышла... Подпись, которую дед ставил тогда, теперь не получалась. Не мог он её повторить как раньше, фасонисто, с росчерком. То ли пальцы задеревенели, то ли в голове склероз поселился, но не по-лу-ча-лось.

В зальчике тесно, людно, всем некогда. Задерганная контролерша снисходительно брала бумагу с написанной дедом очередной завитушкой, сравнивала с оригиналом и недовольно хмыкнув, отдавала обратно. Бабка, тугая на ухо, обреченно взглядывала на принципиальную служащую и подсовывала деду очередное задание, но сдвигов не было...

— А образец-то подсмотреть можно? — подал голос сочувствующий пенсионер. — Он бы переписал да и дело в шляпе.

— Не положено! Подсудное дело. Вкладчик обязан знать свою подпись, — был строгий ответ.

Вряд ли старик видел написанное. Слезы старческой безнадёги неторопливыми каплями стекали с его морщинистых щек и застревали в седой непробритой щетине.

В автобусе

1. Ода кондуктору

Казалось бы, чего проще: пройдишь взад-вперёд по салону да плату собери. Но вспомни часы «пик» — утрамбованное людское, недружелюбное месиво, а ты обязан протиснуться сквозь него бесчисленное число раз, рискуя сломать ребра и конечности и пройти не держась за стойки, по-боцмански... Тут слабому не место, да и мало иметь крепкое, вёрткое тело, надо ещё быть навроде участкового — пассажиры-то всякие случаются... А ты — улыбайся! Не приведи Бог с кем строго обойтись — схлопочешь жалобу, а если контролёры «зайчика» поймают или дверью какого-нибудь недотёпу зажмёт — опять виноват... по карману ударят... И ведь с четырех утра на ногах... Тут мужчина не выдержит, только «слабый» пол и сдюжит.

2. Пассажиры

В автобусе, в этом постоянно движущемся мире, своя жизнь. Заходит гладкая темнолицая цыганка в платке. Длинная, до полу, юбка, многоцветная шелуха одежд, золотые серьги, увесистая сумка, набитая товаром, оттягивает плечо.

— У вас проездной? — автоматически спрашивает кондуктор и, спохватившись, думает: «Ну какой же проездной может быть у цыганки?»

— Я ещё пенсию не получила, — нахально выпаливает та дежурную фразу.

— Она ещё и пенсию получает! — ахает седая изработанная огородница с помидорной рассадой в корзине и отворачивается к окну.

— На остановке трое садились, а рассчитались за двоих, где третий, — вопрошает кондукторша.

— А мы его в чемодан спрятали, — хохочут парни.

— Шутить дома будете! Щас билеты проверю!

— Да не сел он. Его собака в салон не пошла, кондуктора испугалась...

На очередной остановке, тяжело обвисая на поручнях, поднимается грузная пенсионерка с увесистой авоськой. Её отёчные ноги предательски подгибаются, шаркают подошвами и в любой момент могут подвести. Все сиденья заняты и даже на шести передних, инвалидских, разместились «старички» из средней школы. Хозяйка салона со своего трона вежливо предлагает юному сидельцу уступить место женщине.

Лопухастый подросток крутит стриженной головой с кучным чубчиком-ряской. Уши его заткнуты музыкой: черные проводки змеятся из коробочки на животе. Он то ли не понимает, то ли не хочет понимать, места не уступает...

— Ничего, ничего! Пусть сидит! — грустно улыбается женщина, сняв нарастающую общую неловкость из-за лопухастого. — На пенсию выйдет — ещё настоится!

Поторопился

Размахивая выцветшей спортивной сумкой с надписью «Хоккей», подошёл мой постоянный клиент с Новорезки. Лет двадцать он пользуется моими услугами и у нас давно установились отношения, какие бывают меж людьми, уважающими друг друга. Достал он два обгоревших будильника, поставил на подоконник.

— В сарае валялись, возьми на запчасти, может какая чечка сгодится.

— Давненько не видел тебя, дядь Вань. Как здоровье? Сердечко-то не пошаливает?

— Да двигун-то как раз и починили, бегаю теперь, как жеребец некастрированный. Врач сказал — лет на десять хватит...

— А чего ж такой грустный?

— Да с сыном поцапались, осерчал он на меня, не разговаривает, сукин сын!

— Что ж так-то, родного, единственного.

— Да тут у соседей гараж загорелся, два брата-проходимца свинью палили в своём дворе да мой дом чуть не подожгли. Сын-то мой приехал, кричит, чуть в драку на меня не кидается. Чо, мол, усадьбу не уберёт! А сгорело-то всего — крыша сарая. Сам -то уже «тойоту» купил, коттедж отгрохал с затемненными стеклами, скотины целое стадо держит — морда заплыла, глаз не видно — управляющий. И сноха такая же, как трактор «Кировец», двинет раз и не вздохнешь... Они теперь меня уже не уважают. Я ж было помирать собрался, дом сдуру им подписал... Да, видать, поторопился...

Клопотно

— В аптеку бегал да и к тебе привернул, передохну маленько и дальше поплентаю, а то ноги заворачиваются, — шамкает дедушка, опираясь на прилавок мастерской. Внешних признаков старости у него почти не видно: линиялые, но ещё густые волосы, гладкий пергамент лица, живые, со смешинкой, глаза, высокий, с хрипотцой, голос и только зубы белого металла да шаркающая походка не могут скрыть настоячих примет дряхления.

— Старуха-то моя после инсульта отошла маленько, готовит сама. Мне эта ежедневная варка в печенках... Правда, суп то не посолит, то пересолит. И вот же такая язва, имя свое порой забывает, а матькается с ходу, без запинки, строичит, как швейная машинка. Клопотно с ней.

Двойной каледарь

(По мотивам Жванецкого)

Напряженную тишину разорвал звонок с урока и в кабинет директора впорхнули две хорошенькие практиканточки, приехавшие из областного педвуза опробовать свой теоретический багаж на деле.

Их распирало от впечатлений, им нравилось все: и уютная сельская школа, и просторные классы, и приветливые учителя; и, конечно же, милые, послушные дети.

Директор, плотный, седеющий повелитель с умным лицом, ежегодно впитывал этот умильный щебет начинающих «шкрабов» и настроился на очередной поток дифирамбов, зная, что к концу практики их речи изменятся.

Но не успели студенточки раскрыть рты, как в кабинет без стука вплыл крупный мужичина. Выпирающий живот туго обтягивался кожаной курткой на молниях, делая его похожим на очень удобный барабан, на котором, возможно, и играл его владелец в свободное время.

Но теперь он, видимо, не собирался этим заниматься, а с ходу, не здороваясь и не давая к себе привыкнуть, не соизмеряя звук своего голоса с акустикой кабинета, загремел:

— Почини мне часы. Никто не берется, говорят, что очень сложные. К тебе послали.

Директор оторопел. Его обычно бледное холеное лицо стало розоветь. Накатывался всеокрушающий приступ педагогического бешенства, когда гневная интонация, разящее слово и рокочущий оперный бас сливались в тот жуткий громовой глас, который проникал во все уголки здания. От

него дребезжали стекла, перед ним трепетали все — от учеников до педагогов и родителей, а технички неистово крестились, как при близкой грозе.

Но шеф, бросив быстрый взгляд на недоумевающих практиканток и трезво оценив обстановку, на этот раз сумел сдержать себя и, закусив губу, остановил взрыв.

— А знаете ли, милейший, где вы находитесь?! — Пророкотал он металлическим тембром, беря инициативу в свои руки.

— Да, знаю. Это средняя школа, здесь учится мой балб... м-м-м... сын Федор. Ну, гляньте же, — перешел он на вы. — Они с двойным календарем мгновенного действия.

— Вы понимаете, я — учитель. Мое дело — тетради, уроки, педсоветы... Это практиканты... При чем здесь часы?

— Я вас очень хорошо понимаю. Фирма «Сейко», последняя модель, японские, сверхсложные, с автоподзаводом, вот гляньте!

— Вы нормальный человек? — процедил директор, не сводя глаз с пуза-барабана.

— Вполне. Недавно медкомиссию проходил, перед поездкой за границу. Говорят, к вам даже из города приезжают...

— Нет, нет, у вас ложная информация...

— Ну, извините, а я надеялся. И деньги приготовил, хотел хорошо заплатить...

Заверещал звонок, кончилась перемена, практикантки улетели на урок. Настойчивый проситель поплелся следом.

— Давайте сюда ваши котлы! — вдруг резко остановил его хозяин кабинета. — Придете через неделю. Ровно в восемь утра, после звонка на урок. И чтоб без этих штук. «Сверхсложные, японские» — все это барахло делают в Гонконге, пора знать. Деньги вперед!

— Разумеется, — пролепетал обрадованный клиент.

— Вы, кажется, из-за границы приехали?

— Да, из Штатов.

— Оплата в долларах!

— Но вы знаете... э-э-э... — заблеял он невинным барашком, пытаясь перевести разговор в другое русло.

— Да! Я знаю сколько зарабатывает перекупщик мяса... А знаете ли вы, сколько получает учитель? И всегда ли он получает?!

Профессионалы

Вечером, уже перед самым закрытием подошел Коля Газ, добродушный, уравновешенный «Илья Муромец» двадцатого века, то ли из-за могучего телосложения, то ли судьба его такая, но как попал он в номенклатуру риска еще в молодости, так и то сих не вышел из нее, а уж на пенсию скоро. Он и в армии служил не как все в мирное время, а воевал в десантно-штурмовой группе еще до Афгана, где-то в песках, где? Говорить нельзя. Подписку давал. Был ранен, контужен, чуть не сгинул. теперь вот в аварийщиках крутится.

— Ну что, Коля в селах газ-то провели. — спрашиваю.

— Провели, — отвечает он простодушно, — теперь дров не надо, мужики вконец обленятся.

— Ну, а если вдруг пожар?

— У, не приведи Господи, — машет он рукой, — что будет!

— А перекрыть-то газ можно?

— Можно, да в суматохе забудут где, что и находится. Везде нужны свои специалисты, мастера, профессионалы, — говорит он как лекцию читает, — на них вся земля держится.

У меня вот дядька в Ключевке номер, тетка и говорит:

— Пантелеевич заслуженный человек был, орденосец, его надо с музыкой хоронить. Езжай в город да привези музыкантов.

Взял я ЗИЛа, пару навильников соломы в кузов бросил и поехал.

Нашел старосту оркестра. Им оказался давний кореш - вместе по девкам бегали.

— Собирай, — говорю, — своих духариков, человека проводить надо.

А он, чума болотная, видно, подзабыл мой характер, давно не встречались и говорит, мол, вчера важного жмурика за Бурумбайку отвозили, потому сегодня ребята малость угоревши, отдыхают и работать не смогут. Не смогут, хоть плачь и не уговаривай. Помочь ничем не могу, когда, же я нечаянно положил на его плечо свой пудовый кулак, он несколько рассекретил предельные возможности вверенного ему подразделения.

Играют они, конечно, могут в любом положении: стоя, сидя, лежа, вверх ногами и даже во сне, но, ведь, надо еще и идти, а в селе опозоришься — десять лет помнить будут.

— Твое дело собрать и привезти, — говорю ему командирским голосом, — остальное тебя не касается!

Он сразу согласился. Помнил — со мною иначе нельзя. Кликнул пару крепких ребят и по адресам. Каждого музыканта аккуратно собрали, в кузов рядком на соломку уложили, инструмент их тоже не забыли, потихоньку, чтоб не растрясти, выехали и, в аккурат к тринадцати ноль-ноль оркестр был на месте.

Их по одному с грузовика сняли, пиджачки обдернули инструмент в руки и айда, дуй.

К каждому гудошнику я по паре мужичков поставил по бокам для подстраховки. После выяснилось, что не зря.

Все село вышло до единого человека, как музыка заиграла. Все прошло так надо. Родные съехались, попрощались. Цветы, речи, слезы и музыка.

И какая музыка! Душу наизнанку выворачивала. Уж на что матерые мужики, сроду слезу не вышибешь, а и у тех под глазами мокро было, Закончили, помянули, народ успокоился. Оркестрантов снова, как хрусталь в кузов осторожно уложили и по домам развезли. Каждому по бутылке, еще и денег женам дали.

Уж потом мне один музыкант рассказывал: — Встаю, — говорит, — утром на другой день, башка трещит, спасу нет.

И вдруг жена. Жена! Шасть к холодильнику и непочатую бутылку передо мной ставит. Я аж онемел, не пойму то ли во сне, то ли наяву. Минуты две только мычал и моргалами хлопал, ничего понять не мог.

Совсем же не помнил: ни как собирали, ни как везли, ни как играли, ни как обратно привезли — все было как в летаргическом сне.

Но как они играли, как играли — все село рыдало. Одно слово — профессионалы.

Магические зеркала

Мир меняется всё быстрее. От машин уже дышать нечем, а телефонные переговоры можно даже из парной вести, но деревья растут также медленно, да и чудики у нас не переводятся, не исчезают. То ли бытие наше взлохмаченное их порождает, то ли природная кержацкая твердость в них прорезывается: во всём они чье-то намерение видят, враждебный замысел выискивают.

Есть у меня знакомый на Гончарке, зовут его Кеша. Белобрысый, синеглазый, невеликого роста, за сорок ему перевалило. Работает слесарем, но не чурается и интеллектуальных занятий. По ночам умные книги почитывает, просвещается — «Тайную доктрину» одолевает.

Однажды встречаю его:

— Ты почему на велике, — спрашиваю, — зима ведь?

— Дак бабки не дают, а ехать надо, материалы добываю. Никто ж за меня не сделает. Дом строю вокруг своей развалюхи. Поджог мне устроили, внутри всё выгорело, но пол целый, обуглился маленько. Подлатал кое-где, подмазал, перезимую, поди, не замерзну, а снаружи буду новые стены класть.

Один живу. Порой накатывает такая дурь, хоть в петлю, но знаю откуда ветер... Женку-то я спровадил, путалась она, надоело. Ну как же, глаза нарисует, брови прощиплет, губы подведет — чистая модель, а дома все в кучу свалено, посуда не мыта, пол не метен. И ведь натура какая иезуитская: живет с другим, знает, что погрязла в блуде, а не может простить мне мою правоту. Я-то перед ней чист, ну выпью

иногда с корешами, так я ж меру знаю. Я б ей всё простил и измену, и сам бы в избе прибрался, так ведь она ещё и колдует, вражина. Я когда стал пожарище разбирать, нашел в подполье и ленты гробовые, и зерна на нитку нанизанные, и расчески с женскими волосами. Хотела, ведьма, чтоб я суйцидом кончил, но не на того напала, меня ничто не остановит. Сейчас вот парапсихологию изучаю, энергозащиту осваиваю. Спать ложусь, окружаю себя стеной крестов, а снаружи сплошной слой зеркал. И всякий нападающий получает отраженный удар.

— А где ж ты столько зеркал берешь? — невольно вырывается у меня.

— Так я мысленно. Ты что ж эзотерику не знаешь? — спрашивает он, страдальчески изморщив лоб, дичась моей отсталости.

Экстрасенс

Когда человеку уже не на что надеяться, он начинает верить в чудеса, и они якобы даже являются. Время шло к распаду обширной державы, крушению привычной жизни. Не знамо откуда появились колдуны, знахари, ворожеи. Переломное безвременье корёжило людей. Христианство покуда не возвращалось в наши опустевшие души, а навеки прикипевшее язычество подпитывалось гипнотической белибердой. Вечерами вся русь и нерусь усаживалась перед телевизором и жадно внимала «пассам» Кашпиоровского, пила воду заряженную Чумаком, оздоравливалась. Почти каждый ждал встречи с НЛО, а кое-кто и видел его. Наша соседка баба Люба, бывшая комсомолка, уверяла, что однажды перед рассветом наблюдала светящийся крендель над моим домом и расстраивалась, что не было свидетелей. Мы верили и не верили.

— Ваш дом снесут в ближайший год, — объявляли нам в течении последних пятнадцати лет. Обещательные наскоки становились всё чаще и строже, пугали уже по два раза в год. Арестовали даже домовую книгу, запретив прописывать. Мы, наконец, поверили. И даже наш, битый жизнью, дед, проигрывающий в своём мозгу наихудшие варианты бытия, стал сортировать свой именной архив.

— Вы привыкли жить широко, — ворчал он, — а в квартире, как в улье, особо не развернёшься...

Мы тоже засуетились, собрали во дворе целый штабель досок, брёвен, чтоб успеть до сноса продать их на дрова. В ту пору нашему шестикласснику Серёже до зарезу нужен был

бинокль, чтобы смотреть вдаль с какой-нибудь горной вершины. Этот будущий землепроходец и нашёл покупателя.

Пришёл ширококостный татарин в пиджаке со множеством орденских планок. Вёл себя приветливо, ворковал басом. Он как-то умел говорить со всеми сразу, каждого слышал, каждому отвечал и вмиг расположил к себе всех домочадцев. С дедом он, оказывается, воевал под Ржевом, хозяйку похвалил за хорошие стихи, с сыном поговорил о географии, с дочерью о живописи. Мне показал две тонкие блестящие трубки, которыми он, якобы, определял гепатогенные зоны.

— Так вы экстрасенс? — удивился я.

— Что ты, что ты, — замахал он руками, — просто верю этим вот трубочкам, хотя и во мне есть что-то необъяснимое, какое-то обостренное предчувствие опасности. Я и фронт прошёл без ранений, хотя, как фронтовой разведчик, находился, в зоне риска. Успевал сам уйти из опасного места и людей увести, как будто кто подсказывал.

Пока мы готовили чай на кухне, матери не здоровилось, его провели в зал, усадили в кресло. Он на миг застыл, к чему-то прислушиваясь, повертел головой, что-то его беспокоило. Встал, подошёл к стене и сдвинул корпус больших часов чуть влево, хромота тикающего маятника исчезла. Но он опять медленно поворачивал голову, что-то ему не нравилось, видимо, какие-то токи, неведомые заурядному обывателю, корежили его восприятие окружающего мира. Гость пошёл на кухню, попросил ковш воды и полил все растения, стоящие на подоконнике. Цветы явно истомились и, видимо, испускали уловимые лишь им волны. Некоторое время он, развалившись в просиженном кресле, наслаждался рубиновым цветком герани, фиолетовыми бабочками домашней незабудки, цветущим ёжиком кактуса, но что-то не давало ему быть до конца умиротворенным. Старик обвел взглядом стены, густо увешанные картинами, гравюрами и фотографиями. Долго рассматривал портрет ещё не старого плечистого мужчины в густой белой бороде с грустными глазами и широким открытым лбом, портрет красивой молодой женщины с печальным, взглядом ярко-синих очей. Нечто

молчаливо трагическое объединяло их, но не обреченное. Напротив фотография собора, упирающегося куполами в пасмурное небо. Забор из грубого горбыля, а ниже надпись «За три дня до взрыва».

И вдруг его взгляд остановился на толстых, в руку, трубах водяного отопления. Старый достал свои блестящие трубочки, изогнутые печатной «Г» и стал обследовать. Вдруг в одном месте, за зеркалом, концы трубок резко сошлись, коснувшись друг друга. Видя, что я за ним наблюдаю, сказал:

— Здесь у вас опасное место.

Мы осмотрели тщательно всю трубу, но ничего особенно не увидели и стали угощать гостя чаем. Предупреждение забылось.

А однажды ночью, спустя месяц после предсказания, мы услышали резкий хлопок и пар заполнил квартиру. Через дырку размером с копейку, хлестал кипяток именно в том месте трубы, где указал гость со своими трубочками... Ну как тут не поверишь экстрасенсу. А дом наш до сих пор не снесли, хотя минуло еще пятнадцать лет.

В канун Рождества

Козни чего-то необъяснимого, сверхъестественного найдутся, видимо» в памяти всякого пожившего человека. До сих пор не могу, объяснить того, что с нами тогда произошло: случайное стечение обстоятельств или же вмешательство чьего-то злого ума...

Однажды перед Рождеством моему семейству приспичило перемещаться из града Углича Ярославского, где мы тогда жили, в родные зауральские пределы.

Препятствий к выезду скопилось немало: то с работы не отпускали, план горел, то теряли, авиабилеты и находили их почему-то в валенке... На городской автобус мы, конечно же, опоздали пришлось ловить попутную легковушку. Водитель попался из приезжих и мне пришлось самому выпрашивать у случайных прохожих дорогу в аэропорт.

Почему-то притянула цыганистого вида фигура с патлатой бородой. Прежде чем указать направление, он впился в меня дегтярно-черными прожигающими насквозь глазами лешего и потребовал червонцев... Возмущенный наглой бесцеремонностью проходимца, я резко хлопнул дверцей машины, в ответ он неестественно громко щелкнул коричневыми пальцами и исчез.

Водитель включил сцепление, но колеса буксовали. Видимо наледь, подумал я, выскочил наружу и уперся в задний бампер. Но снега давно не было и асфальт чернел как новый. Машину я стронул с места, но теперь заглох двигатель, а шофер, нервничая и чертыхаясь, понапрасну гонял стартер.

А время истекало. Мы перескочили в подвернувшуюся попутку и успели к регистрации последними.

На посадку нам подали невиданный ранее самолет, удививший не только взрослых.

Старшая наша, востроглазая пятилетка радостно возопила, толкая уравновешенного младшего:

— Погляди, какой толстопузенький смешной самолетик, как твоя черепашка!

Наконец, мы взлетели, расстегнув свои шубы и облегченно вздохнув, стали дремать. Но стоило мне прикрыть веки, как перед взором; опять появлялись сверлящие лешачьи гляделки.

Летели почему-то больше положенного времени, но, наконец прозвучала команда: «Пристегнуть ремни! Затем последовало что-то странное: «Окна зашторить, всем оставаться на местах!» Мое любопытство взяло верх над запретом, слегка оттопырив занавеску, я увидел гигантские стены снега, низкорослые деревца по краю аэродрома и царство густой ночи в середине дня... Сомнений не было: мы за Полярным кругом! Получасовая пауза, и мы снова в полете, но спустя несколько часов, не земле нас ждали вечерние огни столицы, откуда мы вылетали утром. После изнурительного ожидания нам подали тот же злополучный АН-10 и точно в расчетное время мы наконец-то были у цели. Но наше хлипкое воздушное судно делало огромные круги и как будто не собиралось приземляться. Прикрыв веки, я уже в который раз видел перед собой леденящие душу зрачкастые глаза-буркалы. Чтобы отогнать жуткое видение и закрадывающиеся опасения в благополучном исходе полета, зачем-то пошарил у себя на груди и, нащупав крест дрожащей рукой, стал читать «Отче наш», других молитв я просто не знал. После очередного разворота из кабины пилотов, вымученно улыбаясь, вышли два члена экипажа. В руках одного из них кувалда. Не глядя на притихших пассажиров, они открыли люк в полу салона, спустились вниз, послышались два увесистых удара и радостное восклицание, которое услышали все: «Ну, слава Богу!» Никто не вымолвил ни слова, но тишина перестала быть обреченной, и пилоты возвраща-

лись в кабину с радостными лицами. Догадливый сосед, ослабляя трясущимися руками галстук, прошептал с облегчением:

— Шасси заклинило. Механики-стервецы недоглядели...

— Не в механиках дело, вырвалось у меня.

Сосед ошарашено глянул на меня и отвернулся.

В аэропорту Челябинска нас ждали стылые стены, жесткие скамьи и долгая зимняя ночь.

«Бедные наши ребятишки», — подумал я с горечью и поплелся в гостиницу, не надеясь на успех.

У входа в гулкое фойе отеля на плоской доске-подушке с маленькими колесами дремал безногий нищий в засаленном бушлате. Солдатская его шапка лежала рядом. Самодельная каталка была ему, и креслом, и ногами, и домом, и Отечеством. Брошенный и забытый всем белым светом, он, видимо уже не особенно тяготился своей участью. Но чем я мог помочь ему?

Увидев положенные мною несколько червонцев, он поднял голову, прекрестился и прошептал:

— Спаси Христос!

В душном фойе, стоя, сидя, лежа на подстеленных газетах люди коротали ночь. Свободных мест, как всегда, не было. Администратор — нервная женщина неопределенного возраста, судачила по телефону. Я надеялся, сам не зная на что и ждал.

Вдруг в зал ввалилась шумная группа с большими рюкзаками, штативами, сумками. Оттеснив меня от стойки, они заговорили все сразу, бесцеремонно прервав ее разговор.

— Ваша броня закончилась «неделю назад, сударики, так что в порядке общей очереди, — был ответ.

— Но мы же геологи, постоянно ошиваемся у вас. Вы нас так хорошо обустроиваете.

— Все-то вы просите, а хоть бы один догадался благодарность написать... — Да мы всегда готовы в лучшем виде?

Полистав книгу отзывов, лысый геолог вынул «паркер» и вскоре ода была готова. Волшебная книга отзывов лежала около меня и дразнила своей доступностью. Пока оформлялись геологи, я, долго не думая, протянул руку и набросал

благодарность за четкое качественное обслуживание. А через минуту, не веря своим глазам получал номер люкс до утра. А когда я, радостно возбужденный, вел свою ораву через фойе в отведенные нам покои, в толпе вдруг мелькнула патлатая борода... Или мне только показалось?..

Супердед

Место моей мастерской выбрано знаменитое — на перекрестке — мимо никто не проходит, всяк заворачивает и чаще всего не по делу.

Подходит сутулый дедок, как будто пеплом обсыпанный. Всё у него пепельно-серое: и лицо недельной небритости, и трюх с опущенными ушами, хотя ещё не зима, и толстого драпа с желтым пятном на спине зимник — утеха тридцатилетней давности, когда его владельцу было пятьдесят. Не ухожен, видно без старухи доживает.

— Ты сделаешь мне печать! — не просит, а приказывает сильным фальцетом, будто мы с ним век знакомы.

— Ого, я ж не ювелир, — сопротивляюсь.

— Да что тебе стоит, ты же все умеешь, — подмасливает он — банку китайской тушенки дам.

— Нет. Я этим не занимаюсь.

— Только три буквы — Пэ, И, Пэ. ПИП. Расписываться не хочу за пенсии, а печать шмякнул, и готово!

«Ну и лодырь», — думаю, — совеем опустился без старухи, за дармовые деньги расписываться не хочет...

— Нет, не могу, не мое это дело.

— Две банки тушенки по четыреста граммов каждая.

— Ну, ладно, уговорил, только надо толстую губчатую резину и размеры.

— Гоп-стоп, все даю сразу, предусмотрено.

На другой день взял заказ, долго вертел в руках. Придраться не к чему. Нехотя достал банку тушенки. — Вторую потом.

— Потом означает никогда, так вроде говорят в Швейцарии.

Эти мои слова старик пропустил мимо ушей и, как ни в чем не бывало, приказал:

— Теперь подыщи мне старуху, лет под пятьдесят.

— Ого! А вам сколько?

— Мне восемьдесят, но это неважно.

— А чем будете её интересовывать, не пуговицей же на ширинке?

— Это не твое дело Я супермен, если захочу, кошку за неделю говорить научу, понял?

— Но кошка — не женщина...

— А ты попробуй!

Женихи

Конец февраля. Утро. Ночью был туман, и теперь ветви деревьев, заборы, провода изукрашены ажурной вязью снежного кружева. Выглянувшее из-за тяжелых туч игрившее предвесеннее солнце превратило белое рукоделье природы в искрящиеся алмазы, рубины, яхонты.

У дверей кафе, что около городского ЗАГСА, остановилась собачья свадьба.

Впереди среднего роста ОНА — лохматулия, вся в шерсти, глаз не видно, в зубах куриная косточка от окорочков. Так хочется съесть заморскую снедь, но, видимо, неприлично: вокруг столько собачьего «люда».

Сзади первым стоит рослый коричнево-белый сенбернар, изрядно разбавленный дворнягой, от чего одно ухо его лежит на боку. За ним, строго по росту, целая цепочка, штук двенадцать разношерстных «мальчиков» поменьше. Последним стоит гладкое, декоративное, тонконогое чудо размером с котенка.

Вдруг сенбернар, растворив огромную пасть, сладко, с хрустом, позевывает. И, как по команде, стали зевать все хвостатые женихи. Всю ночь без она.

— Спа-а-а-ть хочется!

Птицы и люди

Утро. Пошел на мусорку — ведро набралось. А ветер — северный, лицо наждаком обдирает, снег переметывает... А тут «Волга», новенькая, черными боками лоснится, по обледенелому верху проскочила и в глубокой колее села по самое брюхо. Колеса снег ошметками выбрасывает сизым дымом всю окрестность заволокло, а толку нет.

Подхожу. — В кожаном пиджаке, без шапки, молодой водила. Показал ему знаком: выйди, мол, глянь, куда рулить-то. Да, вижу, ему не до меня, сидит, газует...

У железных баков спектакль. Стая вертлявых галок, бузят, как накурившиеся девки с дискотеки. Кричат, друг у друга что-то выхватывают. Меж них — переполненные важностью вороны прохаживаются, вроде сутенеров в злочном месте. При моем появлении они, как по команде, поворачивают головы в мою сторону и замолкают.

— Че, ребята, голодно? — сочувствую им.

— Кра-кrrа! — скрипят вороны и презрительно косятся на ведро, набитое очистками. Тут же и «санитарные волки» инвентаризацию проводят.

Мужчина, лет сорока, закопченный, как чугунок, в лежонькой, до пула, куртёшке, палкой отбросы ворошит — черный пакет на вытянутой руке держит, чтоб о ящик не замарать — чистоплотный! Поодаль — его Дульсиня — в черной дошке, носик красный, лицо поцарапанное, но вид начальственный, видно, мужиком верховодит. Увидев меня, отошли, как вежливые бездомные собаки, поглядывали издали, может, что стоящее принес. И тут меня осенило:

— Помогите, — говорю, — машину вытолкать, может, денег даст...

Они и виду не подали, что слышали, но подошли несмело к «Волге», стали толкать взад-вперед... Женщина тут же стала командовать — вправо, влево... Двигатель ревел, белым дымом заволакивало бомжей, но, наконец, машина вырвалась из снежного плена.

Толкатели стояли позади авто и смиренно глядели на бампер. Водила выскочил из кабины, деловито глянул на колеса, что-то протянул мужчине и уехал. А счастливая парочка стояла посреди дороги и пересчитывали папиросы.

— Хоть бы десятку дал! — вырвалось у меня. Но они были весьма довольны и этим — такого на помойке не сыщешь!

Политическое убежище

Изменение климата на планете сказалось и на нашей крыше, Влез на нее и увяз по самый пояс, Еле скидал эти снега, упарился, слез, стою, просыхаю.

Мимо ворот беглым шагом — Егорыч, майор в отставке, сейчас сады караулит. Увидел меня, решил передохнуть:

— Старуха-то моя че учудила, вечером, еще по чернотропу пришла в сторожку меня проведать. То ли соскучилась, то ли контроль произвести, как служба идет... После-то выяснилось — политического убежища искала, Сынок-то ее ненаглядный мать проведать — регулярно, каждое 25-е число приходит. — К материнной пенсии «причаститься». Вот она и успела стрекануть до его прихода. А оно возьми: ночью снег и выпади. Столько намело: пеши не пройдешь — только на лыжах!

Бабка моя ночь-то померзла: не на батарее бока накалять, домой запросилась. А как? Она и по голой земле-то с батожком в обнимку кое-как перемещается, а тут снегу по пояс и никаких тебе тропок: я ж один во всем садовом кооперативе — жди, пока зайцы дорожки протопчут или воры. Но в таких сугробах и они увязнут.

Сбегал на лыжах к соседнему сторожу. А у него тоже одна пара лыж. Попробовали мы с ним ее подмышки нести. С обеих сторон стали на лыжах, проваливаемся, кряхтим, мочи нет! А ей понравилось, ещё бы, с двумя мужиками в обнимку, ногами болтает, хохочет. Ну, мы шагов десять протащили ее, взмокрили да и назад вернулись.

— Домой вот прибег? шифоньер разберу, волокушу излажу. Ну не до весны ж ее держать в сторожке! Она мне всю шею перепилит!

Римский папа и боярышник

Пришел я в банк за техосмотр расплатиться, а там один байбак, весьма «под шафэ»и права качает:

— Дурные деньги еще не пришли? — спрашивает.

— Дурных не знаем, а пособие свое можете получить, — отвечают. Подали бумагу, но, как он ни ловчился, ни кожился, роспись с оригиналом не сходилась.

— Завтра придете, когда протрезвеете, — отрезает кассирша.

— А мне сейчас надо, я до утра не уйду, пока не получу. Где тут у вас начальство? Мне надо боярышника настойку купить, пузырьков... восемь — кочевряжится проситель, — для лечения...

— Его ж только по 20 капель принимают, — изумляется, работница.

— И три раза в день! — поднимает палец выпивоха, — можно и чаще! — Г л о т о к здоровья! На пузырьке так и написано.

— А сегодня причина уважительная — папу Римского выбирают! — Событие мирового масштаба.

— Ты что же католик? — удивляется собеседница.

— Не, я — протестант. Спорить люблю!

— Вот из-за вас, таких протестантов Россия и погибает, возмущается женщина могучего телосложения из очереди, — Нахрюкаются, а потом от них дебилов нарожают, и подавай им пузырьки с боярышником! Напузырятся и Римского папу поминают!

Высший пилотаж

Мне хочется влюбляться в птиц.

Т. Наурзбаев

На загрубелую землю спустился листопадный позимник. Ненастье еще прячется за хребетными позвонками Рифея и утренние зори розовыми щупальцами высвечивают кошенину, стерню, копны неубранной соломы, окрашивая их сначала в шафранный, а затем в червонно-золотой колер.

Капли туманной росы околдовано закаменели и лучатся радужными зрачками, веселя душу. Вселенная радуется завершению своих сезонных хлопот и рядится в праздничные кафтаны, прихорашивается.

Так зрелая домовитая страдница, сменив смоль своих роскошных кудрей на невозвратное серебро седины, снова становится пригожей да величавой.

* * *

А у птиц свой обряд: стайные посиделки перед великим и опасным кочеваньем. Туда, где посвистывают пулеметные очереди, чадят нефтяным смрадом пожарища, взлетают и садятся ревущие чудища, а по берегам рек и озер хоронятся в засадах еще и специальные убийцы-охотники, «санитары» птичьего гриппа.

«Ну прячьте своих куриц подале, почто нас-то дочиста изводите? Вы ж только недавно научились от земли отрываться, а мы-то миллионы лет крыльями машем». — Старый грач прервал свои тяжкие думы, щелкнул клювом и оглядел оком.

Слепит косыми лучами низкое светило. Полынная сушь пепелит задервенелое будылье, а у перекрестья дорог, близ Токаревки — никогда не засыхающая обширная лыва.

То ли родник, зажатый утрамбованной дорогой, пробивается наружу, то ли труба водопроводная просикивает, но здесь всегда многолюдно, точнее, многоптично: можно попить и освежиться — воды по самые птичьи колена.

Ноне свое предполетное совещание проводят грачи. Важные, сановитые, в вороненых блестящих фраках, как оперные певцы в буфете, дружно клацают клювами, не спеша, с достоинством вкушают мутное питье из лужи и каждый почитает за честь вставить в общий галдеж свое вольнодумное басовитое «Кра-а!»

А посереде калюжи настоящее представление — грачиная купальня. Путешествующие дамы и господа норовят сполоснуть свои телеса перед дальней дорогой. Путь до Африки не близкий.

Они с остервенением плещутся в колдобине, делая по пять-шесть заходов кряду.

Вокруг калуги, ближе к воде, зрители, как в театре: самые любопытные в партере, галки. В сизоватых дымчатых полушалках с белыми шарфиками вокруг шеи и темных накидочках, они бурно приветствуют дородных банелюбов, неистово верещат, как фанаты на футболе, встают на цыпочки, мельтешат крыльями, восторженно аплодируя, но в воду не лезут.

Подале, в бельэтаже, разномастной стаей, как франтоватые купцы из провинции, флегматичные голуби. Согласно кивая головами, насмешливо гулькают, оберегая свои пуховые сюртуки от брызг. Завсегдатаи этой бани, на сегодня они милостиво уступили ее гостям.

Но вот над истошным гамузом ввинтилась в небо стая дозорных, и купальщики, подпрыгнув на своих коротких опорах, взмывают следом.

Тысячи и тысячи птиц притемняют солнце. По команде вожака они все враз меняют курс, выкидывая рискованные номера. То на бреющем полете стригут крыльями траву, то

устремляются под самые облака, превращаясь в черненькие точки, то рассыпаются, то сгущаются в диковинный клубок.

Но ни один не коснулся другого, не сбился, не поранил, пролетая в сантиметре друг от друга. Все четко, совершенно, грациозно!

И это не просто бравурная, толчая, а высший пилотаж живой природы!

Там нет ни бомжей, ни наркоманов, ни воров, ни проституток... Как-то же обходятся...

Собачий нюанс

Чем больше узнаешь людей, тем больше нравятся собаки.

В наше время, когда у некоторых людей обостряются волчьих повадки, лучше всего дружить с собакой. Ей можно смело доверять всё, что накопело... Она выслушает вас внимательно, сочувственно повилает хвостом, никому не разболтает ваших секретов, да и смеяться над вами не будет, если опростоволоситесь. А уж преданность вам обеспечена, хотя и она, порой боком выходит...

Однажды к художникам, что обитают на краю городка Т., в уютном, увешанном картинами подвале, забрел щенок. Залез в краски, перепачкался, измазал весь пол, забился в теплое местечко и уснул.

Художники — народ незлобивый, первейшие заступники природы, обижать его не стали. Огромный, густобородый Сергеич, главный их застрельщик, поселил пёсика у Митрича — местного смотрителя времени.

И вот через год из крошечного, размером с кулачок, щеночка вымахал коричнево-белый красавец в королевском жабо, с мощной грудью атлета, тонким чутким носом, смысленными карими глазами и тяжеленными передними лапами в белых чулках. Задние ноги его так густо поросли шерстью, что напоминали брюки галифе, в каких любили щеголять красные кавалеристы в гражданскую войну. От белой звёздочки на лбу, где у «просветленных» — третий глаз, опускался белоснежный шнур до лакированно-черной пи-

почки носа, перехваченный кипенно-белой манжетой. Но самым удивительным был хвост: роскошный, пышный, величественный. Он одинаково мог бы служить и веером светской щеголихе, и опахалом ленивому турецкому султану.

Найденыш был красив, но на этом не кончались его достоинства... Он с упоением слушал хоровое пение, ходил с хозяином на репетиции и, сидя под столом иногда подавал свой голос. Порой на радио пробивался кто-нибудь из знаменитых итальянских теноров, вроде Лучано Паваротти, то Джим торжественно вставал на задние лапы и, закрыв глаза, усердно подвывал, пытаясь вытянуть верхнее «до».

Когда Митрич берёт большую авоську, пес знает, что пора идти в магазин. От нетерпения он начинает бегать по двору, становится на задние лапы, танцует, всем существом своим радуясь предстоящей прогулке.

Только вышли, глядь, а у дерева черный котище, соседский Мефодий, царапки свои страшные натачивает. Вид важный, задумчивый, будто на арфе тренькает, да так увлекся, будто осторожность всю потерял.

А у Джима первое удовольствие — котов погонять. Пригнулся он сколько можно на своих длинных опорах, опустил к земле голову, чтобы уши не выделялись и рысцей к дереву. Кот, конечно, давно уже заметил Джима, но продолжал терзать кору ни в чем не повинной сосны. Особое кошачье достоинство не позволяло ему спасовать перед презираемой им псиной. Джим, видя, что кот вроде бы его и не боится, остановился и для начала гавкнул низким, как ему казалось, самым страшным звуком.

Мефодий как бы нехотя оставил своё занятие, развернулся к противнику и, приняв боксерскую стойку, шипя, застыл в ожидании. Пес весьма довольный тем, что его заметили и опасаются, знал по давней памяти предков, что кот — это тигр и лев вместе взятые и решил не приближаться, а издали поугагать заносчивого котяру оглушающим лаем:

— Р-распоррряжаться на вверренной мне тер-ритории! Р-растительность на р-ряшке твоей р-расфуфыренной повыдер-ргиваю. Мелодий, выдержав с полминуты, время, которое по законам кошачьей чести не давало повода обвинить

его в трусости, сиганул на дерево до большой развилки, устроившись там поудобнее, выгнул спину и, резко ударяя хвостом по стволу, злобно зашипел:

— Ш-шуш-шера ш-шерамыжная, ш-шансонье ш-шелопутный, ш-шавка из ш-шайки ш-шарлатанов лезь на дерево, я быстро разукрашу твой ш-шикарный ш-шнобель!

Джим маханул к дереву, стал на задние лапы как бы пытаясь вскарабкаться на сосну, но потом вроде бы раздумал, гавкнул пару раз, поднял левую ногу, выражая свое полное презрение к кошачьему сословию, довольный победой, весело помахивая своим пышным опахалом, выбежал на улицу.

Митрич зашёл в булочную — кобель на крылечко уселся, хозяина поджидать, а к продавщице — то ли инкассаторы пожаловали, то ли «свои» с заднего хода заскочили... то да сё — пришлось ждать, пока она освободится. За морозным окном то ли галки, то ли вороны зловещие носятся, у теплой батареи кошка умывается — на «рандеву» готовится, на витрине торт преет, и такая тишина, что кажется слышно, как черный паучок — сухопутный рыболов — сети свои чинит на потолке: мух пока нет, так хоть на таракана поставить...

«Что-то в магазин никто не заходит, — недоумевает Митрич. — Хлеб подвезли, все идут с работы — время самое хлебопродажное...»

Отоварился, наконец, выходит, а за наружными дверями — гул какой-то, почему-то «маму» поминают и хозяина собаки... Как-то неуютно стало на душе у Митрича, вышел, глядит...

На крыльце, как на царском троне, восседает Джим во всем своем рассерженном собачьем величии: уши топориком, хвост торчком, на загривке шерсть дыбом, пасть со страшными клыками наготове.

А на нижних ступенях, вокруг крыльца и далее — кипящая негодованием толпа в ватниках, шубейках, алясках, пуховиках... и разгневанный луч ярости сфокусирован на кобелине, преградившему дорогу в магазин. Как в такой ситуации поведет себя заурядный обыватель? Он сделает

вид, дескать, я — не я и собака не моя! То же и Митрич попытался сыграть. Но пес, хотя и перенял некоторые человеческие подлости, всё же не растерял добродетельные природные инстинкты.

И как только Митрич показался из дверей, Джим с чувством исполненного долга сразу же поставил передние лапы ему на грудь и лизнул в губы. По-своему, по-собачьи он был прав. Всем стало ясно сразу, чья это собака.

Над толпой нависло зловещее молчание. Митрич обреченно глянул поверх голов — из переулка выезжал автобус с чёрной полосой по борту крупно: «Память»... Все «восторги» по поводу своего появления с двумя хлебами Митрич выслушал молча, с христианским смирением, ожидая, что это им скоро наскучит. Но пик негодования толпы ещё только входил в зенит — все жаждали возмездия. Одна замызганная шубейка вдруг кинулась к Митричу со страстным желанием проверить, а не приклеена ли растительность на его лице... Толпа гудела, подбадривая нападавшую. И когда расстояние от руки возмущенной «леди» до бакенбарды Митрича стало менее локтя, верный пес оглушительно рявкнул и так клацнул зубами, что миг стало тихо, как на погосте в минуту погребения.

Воспользовавшись замешательством, Митрич с Джимом выскочили из опасного окружения и, не оглядываясь, убрлись восвояси.

Погони не было. Так как из двух благ: «Хлеба и Зрелищ» — первое оказалось важнее.

Гусь

Городок Т., как бывшая пограничная крепость расположен в стратегически выгодном месте, меж двух рек. Одну переедешь — обширное, в пол-Европы, азиатское государство, другую пересечешь — матушка-Россия. И вот спешат к нам каждое воскресенье заречные гости: кто на базар, кто по магазинам, а кто в службу быта.

Работаю, время к обеду. Подходит клиент. Видно, что из села, но не фермер, фуфайка новенькая, еще не обмялась, специально для города одел, сапоги резиновые и шапка кроличья, уши опущены, завязки болтаются, в руках авоська, из неё лапа гусяная торчит.

Сдал заказ, попросил, чтобы сегодня же и отремонтировали — после обеда домой уезжает. Видя моё благосклонное отношение, открыл свой секрет, как он телевизор отремонтировал:

— Надоело мне в телеателье мотаться. Что не приду, ответ один — нет деталей. Я — шуметь. Так разошелся, сам себя не помню. А они и спрашивают: «Не из Лебедевки, мол, будете, темперамент у вас какой-то не местный». «Не, — говорю, — я из Лейпцига. Мы, хоть и не в Европах живем, а села у нас знаменитые: то Берлин, то Париж, то Варшавка — Екатерина Великая учудила». «Что ж ты, отец, — говорят раньше не сказал, убоинки вези, сделаем». Гуся им доставил, враз и детали нашлись. Теперь вот хочу таким же макарон и холодильник починить, а чтоб зря не тратиться, птицу заранее взял. У меня их полон двор. Интеллигентная птица. Утром, с восходом, строго по ранжиру на речку, вечером —

домой. И чужого близко не подпустят. Я и собаку не держу, лишние расходы. Ночью чуть что, такой гвалт подымут, все соседи просыпаются. Рим-то, говорят, гуси и спасли.

Закончил гусевод свой страстный монолог и побежал по своим делам, а я в обед возьми да и постригись. Жена давно в парикмахерскую гнала. — Ты, — говорит, — как зять Аллы Пугачевой, ишь как закудлател.

Сделали мне пострижение, шерсти много сняли. Мастерица, видать, только что из мастериц вылупилась. Всё на малышах стажировалась, а тут я подвернулся, ну она на мне и дебютировала.

Всё бы ничего, да проплешина моя растелешилась, а маскировать её нечем. Глянул я в зеркало и даже в горле пересохло уши, как галушки, нос, как у турка — чистый абрек. Вышел из цирюльни, а тут пиво холодненькое, хватил его разгоряченной глоткой и мой звонкий тенор превратился в рыкающий, как из бочки, бас.

А после обеда приходит этот заказчик, уже без гуся и спрашивает:

— А где тот мужчина, что здесь сидел?

Ну, а я подрасстроился да и забасил недружелюбно:

— Никто здесь другой не сидел, что вы это изобретаете, любезный?

— Как не сидел? — загорячился гусевод, — был тут мастер до обеда, приличный и к людям внимательный, не то что ты, грубиян бритоголовый, на людей кидаешься!

— Да выслушайте меня, — пытаюсь его остановить, а не удаётся, заклинило у мужика.

— Мне ехать надо, — кричит, — автобус уходит, не ночевать же мне у вас.

— Зачем ночевать? — перебиваю его, — бери свой заказ да уматывай.

Подал ему его часы, а он лоб изморщил, взгляделся:

— Э, да что ж с тобой стряслось? Постригли что ли? Перелицевали, прям и не узнать, ухайдакали, — смеётся он. — Ну и поделом, ты ж к парикмахеру пустой ходил. Гусей надо разводить, — издевается птицевод и довольный собой скрывается за дверью.

Корифан

Поезд с Савеловского как всегда полночь. В зале ожидания пахнет растаявшим снегом и китайской лапшой быстрого приготовления со вкусом креветок. Под самым потолком, чтоб не украли, плыскает цветными видениями телевизор. Темнокожий шериф с бляхой на груди распутывает очередное злодеяние.

— Да не трать ты глаза на эту забугорную бузонь, — поворачивается ко мне невеликого роста сосед с пышными седыми усами, — я тебе про наше расскажу, про расейское. Послушай!

Жил я тогда на Волге. Город небольшой, но древний. Не раз его сжигали, жителей до корня изводили, а он по сей день живет и мир удивляет.

Купил тамошний завод автоматическую линию для золочения деталей часов аж в самой Швейцарии. Сложная штука и очень дорогая, К Алексею Николаевичу Косыгину, тогдашнему предсовмина три раза холили, чтоб бумагу подписал. Строгий был старик, зря деньги не выбрасывал. Долго не соглашался, но всех уговорили. Сам министр увещевать ходил. Дескать, риску никакого, окупится быстро, да и фирма знаменитая, не веники вяжет.

Привезли эту систему, группа наладчиков прилетела, все плоские, как леци, ни одного кособрюхого, в блескучей одежке, на спинах буквы. Ребята гонористые, с нашими без переводчика и общаться не желают, носы позадирали, как же — Европа, сервис!

Распечатали ящики, смонтировали линию подключили, а она не тямает. Лампочки-то горят и даже мигают... некоторые, а толку нет, хоть плачь. Засуетились, забегали хваленые спецы, куда и спесь подевалась. Все блоки, узлы, соединения перебрали, перепроверили, На телефоне часами висели — главный их консультант из самого Берна накачивал. Инструкции и справочники до дыр протерли. Бились, бились — никакого толку. А тут Рождество их католическое пришло и командировке каюк. Собрали они свои манатки да и деру, им и трава не расти. Месяцев через шесть обещали вернуться, что-то, де, у них недоработано и на контракт ссылаются. Там, мол, все оговорено ранее и вашим же синклитом подписано, кинулись наши раззявы к документам, стали читать, подмахнули-то не глядя. Видят примечаньице внизу мелкими буквами: изделие экспериментальное, аналогов не имеет, если «что», фирма просит извинить, но ответственности за это не несет. А пока иноземцы канитель тянули, наше начальство решило показать свою расторопность — старую аппаратуру демонтировали и в утиль сдали.

А детали-то кончаются, сборка все заначки повыскребла, вот-вот встанет. Завод в лихорадке, дирекция в панике — не дай Бог, Косыгин узнает. Сам замминистра сел на телефон, каждый час из Москвы звонит. Убытки предстоят немалые, а компенсацию с этих фирмачей не возьмешь, да и головы полетят. Многие с мягких кресел могут пересесть на простые стулья, а то и на скамьи.

И в этот самый час подходит к мастеру электрик Ваня Чернов и толкует как бы про себя:

— Дела на копейку, а стонов на целый рубль.

— Что ты порешь, корифан, какая копейка? Тут миллионами пахнет.

— Да заплатите вы мне двести рублей, через неделю линия пахать будет.

Мастер глаза вытаращил, в затылке поскреб и пулей к старшему мастеру, тот — к начальнику цеха, этот доложил главному инженеру, дошло до директора. Была спущена команда: «Пусть делает, в долгу не останемся!» Начальство Чернова не жаловало, непокорливый, мол, слишком много

знает, во все суется, критикует. Приняли его в цех инженером, а через пару лет списали в простые электрики — «попал под сокращение? А тут как-то профессор привозил студентов на завод побеседовал с Иваном и прозвал его КОРИ-ФЕЕМ, а слесари переделали в Корифана. Их тешило: инженер с башкой, с учеными мужиками за руку здороваются, а числится в простых работагах...

Неизвестно, что он там придумал, а только на седьмой день линия ожила. Сбежалось все начальство, позвонили на фирму, мол, починили вашу технику сами. Те вначале обиделись, что русские зло шутят, разыгрывают, потом засомневались, долго спрашивали, но так и не поверив, примчались на завод целым гамузом. Обсмотрели, облазили, видят: молотит их изделие, и продукцию выдает по всем параметрам как и было предписано. Долго меж собой о чем-то калякали, плечами пожимали и совсем уж по-русски в затылках чесали. Оказалось, они на своей фирме над такой же системой третий месяц потеют. Оборачиваются они к нашему руководству и спрашивают, стыдливо потупясь:

— Можно ли увидеть ту группу инженеров кои эту хреновину до ума довела?

— Да какая там группа? — отвечает начальник цеха, протестки улыбаясь, — Ванька Чернов один делал. Вот он — весь на виду!

Повернули иноземцы свои озабоченные черепки, видят: стоит чернявый парень в опрятном халате, кудри шапкой, косая сажень в плечах, взгляд в упор, глаз не отводит. Обступили они его и уже без переводчика на ломаном русском шпарят без застенчивости:

— Где учился? Лозанна? Цюрих? Париж?

— Ну вы загнули, — смеется Иван, — да я в Мытищах штаны протирал, Те головами закивали, мол, поняли, но по глазам видно, что не верят, басурмане. Долго они его выпытывали, все причину узнать хотели, а у Вани все шуточки-прибауточки и в электронике он дока. Многие наши инженеры из высокого начальства тут же топтались и только, как пуганые лошади, ушами стригли. А швейцарские спецы Ванюшу зауважали, руки жмут, по плечам хлопают, в гости

зовут. Подарили ему на прощанье... авторучку, большую, многостержневую, да и уехали, а линия и по сей день служит.

За внедрение новой техники начальство хорошие премии получило: и мастер, и старший мастер, и начальник цеха, и главный инженер, и директор, и заместитель министра...

Ивана тоже не забыли: дали ему СТО рублей, а более по штатному расписанию не полагается.

А вскоре после этого я у него телевизор чинил, ни одна мастерская не бралась, Ну и спрашиваю:

— Как ты так сумел иностранцев на уши поставить, в чем секрет-то?

— А никакого секрета, — говорит, и показывает просторный чуланчик, а в нем стопы журналов от пола до потолка.

— Новинки электроники изо всех ведущих стран мира, — говорит, и бережно так по корешкам проводит.

— Вот тебе и Корифан! — улыбается рассказчик.

Троицк, великие путешественники и удивительные совпадения

1. Иван Неплюев

— Цифири. Магическая сила цифр, дат, событий — за нами вся жизнь государств, городов, людей, — думал 75-летний конференц-министр И.И. Неплюев перебирая бумаги, удобно расположившись в кресле меж цветущих яблонь сада в своем имении под Новгородом.

— В двадцатом году держал экзамен перед самим Петром... В этом малом будет толк! И оценил не по протекции, не по милости, а по уму. Были взлеты. Главный командор Петербурга, боевые корабли строил, воевал. Потом опаснейшая работа резидентом в коварной Турции, добился расширения границ России.

Были и падения. Оболганный пакостными завистниками, лишен всего и арестован. Спасибо императрице Елизавете Петровне — поверила и спасла от бесчестия.

И опять самое неподъемное дело в России — ему. Назначен наместником обширного, в пол-Европы, дикого Оренбургского края, Не хотелось думать, что почетная ссылка...

И снова природный ум, старание, ревностное служение Отечеству позволяли достичь высоту, для иных недосыгаемую.

За 16 лет построил на пустом месте более сорока заводов железоделательных, границу укрепил Оренбургским да

Уральским казачьими войсками, школы устроил, церкви, торговлю наладил. Основал до семидесяти крепостей, а свое 50-летие праздновал закладкой НОВО-ТРОИЦКОЙ крепости, будущего города ТРОИЦКА, российского ударного кулака, нацеленного в сторону киргиз-кайсацкой орды». Шел 1743-й год.

А вот теперь в лето 1768 и его стараниями из северной столицы отправляется целых пять академических экспедиций. Три из них на Урал.

2. Петр Паллас

Во главе экспедиция — лучший ум XVIII века — географ, ботаник, этнограф, геолог — Петр Паллас. Уроженец Берлина, он получил превосходное образование в университетах Германии, Англии, Голландии. На молодого ученого обратила внимание Екатерина Великая, и вот в конце дождливого лета 1770 года в Троицкую крепость прибыл один из первых исследователей нашего края, новоиспеченный российский академик. Удивительно, но выдающийся путешественник был старше Троицка всего на два года. А фортеции нашей в ту порт шло 28-е лето.

Паллас увидел, что «крепость довольно пространна, четырехугольная, укреплена деревянной» стеною, по углам имеет бастионы и рavelины, а по флангам четыре башни. Сверх того снабжена довольно артиллерию, рвом и рогатками». Следует заметить, что ежели бы не отворенные предательски ворота, то пугачевцы вряд ли бы могли захватить крепость с ходу.

«Впротчем, — пишет Паллас, — кроме гарнизонных строений, домов коменданта и таможенного директора, купеческих покоев и нескольких изрядных офицерских домов, нет более хороших жильёв. Все же сии дома и протчие выстроенны правильными улицами, коих название по углам на чёрных досках обозначены». Из особых достопримечательностей крепости заглавное место Паллас отводит величественному Свято-Троицкому собору. Пять серебристых куполов и грандиозная колокольня с устремленным ввысь позолоченным крестом на шпиле видны были издали и служили маяком для

караванов, идущих на Меновой двор крепости из Индии, Китая, Средней Азии, Нелишне заметить, что в купели Уйского храма, вероятно, был крещен и Иван Андреевич Крылов, а в одном из офицерских домов мог проживать квартирмейстер Оренбургского драгунского полка поручик Андрей Прохорович Крылов, где и родился будущий великий баснописец, перевезенный еще до пугачевщины в Оренбург своей матушкой, видимо, коренной троичанкой, Марией Алексеевной. Странно подумать, но вряд ли бы их пощадили пьяные бунтовщики в 1774 году, останься они в Троицке...

Теперь же в 1770 году, Паллас, как великий ботаник, исследовал растительность Южного Зауралья. «Сия степь, — писал он, — здоровыми и сытными травами так богата, что России не надобно доставать семян иноземных». Его поразило обилие водоплавающей дичи на озерах. «Везде видны кучи диких гусей, уток и всяких водяных птиц. Ученый предполагал пробыть в наших местах весь сентябрь, но болезнь глаз помешала ему осуществить свои замыслы. И вновь совпадения.

3. Александр Гумбольдт

Великий Петр Паллас еще только отъезжал из Троицка, а в далекой Пруссии именно в тот год родился другой путешественник крупнейший ученый XIX века, труды которого положены в основу научных представлений о планете — великий Александр Гумбольдт.

Его пути-дороги тоже пересекутся с нашим городом и тоже на стыке лета и осени, но 60 лет спустя.

30-летний гений Александр Гумбольдт на легком испанском фрегате «Писарро» отбывал в свою первую дальнюю экспедицию в Америку ни раньше ни позже, а 6 июня 1799 года, в день рождения другого гения Александра — нашего Пушкина, с которым Гумбольдт встретится в Петербурге уже после посещения Троицка. В гостеприимном петербургском доме просвещенного богача и мецената Алексея Николаевича Оленина постоянно бывали троичанин — баснописец И.А. Крылов, художник К.П. Брюллов, поэты А.С. Пушкин, В.А. Жуковский, побывавший в Троицке позднее, летом 1837 года, сопровождая наследника престола Александра II.

Гумбольдт, посетивший сие собрание русских гениев, заметил, что «объехал оба земных полушария и везде должен был только говорить, а здесь с удовольствием слушал». Два тезки, видимо, встречались не однажды, так как поэта интересовала история Пугачева, а немецкий путешественник как раз и проследовал от Троицка на юг, по дорогам великого мятежника, опередив Пушкина на четыре года. Неумолимо говоруна-академика Александр Сергеевич прозвал «Гумбольдт — фонтан львиного облика». Но это потом, а пока отважный ученый, рискуя быть погубленным английской эскадрой, следует по пути Христофора Колумба. Канары, Тенерифе. Удивительное погибающее племя гуанчей. Мнение, что гуанчи — последние жители погибшей Атлантиды, великий этнограф доказательно отмечает. Загадочная Венесуэла, где гигантские пещеры Гуахаро в долине Карипе он позднее сравнивал с пещерами Европы и Южного Урала, открыв подземную метеорологию.

Ориноко, крокодилы, ягуары, анаконды, москиты, постоянная смертельная опасность. Бразилия. Месторождение алмазов. На Урале, в Ильменских горах, он увидит похожие геологические условия и предскажет там месторождения драгоценных камней.

Кито, Лима, еще тринадцатитатная Америка... Снова Европа, слава и тоска. Тоска по новым путешествиям, открытиям, а пока — равнодушие и косность правителей.

— Вы занимаетесь ботаникой? — осведомился как-то у Гумбольдта император Наполеон. — Моя жена Жозефина — тоже...

В 1829 году русское правительство пригласило ученого в Россию. Давняя мечта великого исследователя наконец-то сбылась. Его интересовала невиданная им ранее Восточная Европа. Леса, долины, горы реки, озера, Центральная Азия и особенно Урал. «Граница меж Европой и Азией, — пишет он, — похожа на окрестности Тегеля под Берлином. Разница в лесе. Здесь прекрасные липы и березы перемежаются с лиственницей».

Екатеринбург — Тобольск — Алтай — Омск. Подъезжая к ТРОИЦКУ заметил: Березы здесь желтеют прядями, а осины как сговорившись, сразу краснеют». Хотелось остановиться, отдохнуть под их успокоительным шелестом, но экипажи

катились безостановочно. Надо было спешить. В Троицке, видимо, расположились на ночлег. Весь город обсуждал случившееся накануне попадание шаровой молнии в здание собора. А ранним августовским утром, по холодку, под малиновый перезвон колоколов из северных ворот крепости выкатилось несколько экипажей и в сопровождении казачьего эскорта быстрой рысью на Златоуст. Ученого интересовал, хребет Таганай. 2 сентября, во время пребывания в Миассе, великого естествоиспытателя, почетного члена Петербургской академии, тайного советника Германского двора Александра Гумбольдта поздравляли с 60-летием. Златоустовские оружейники преподнесли ему в дар необычную саблю из аносовской стали. Она ничем не уступала легендарному дамасскому булату. А осень торопила. Шел пятый месяц изучения России. В сопровождении Троицких казаков хорошей рысью в сторону Оренбурга, в дороге ученый немало удивился природной смекалке троичан, обративших внимание его превосходительства на «каменную бабу» — изображение человека с плоским лицом, барельефно высеченными руками, скрещенными на животе. Такие памятники древних он видел в Андах, в Перу, родство было настолько поразительным, что великий этнограф шел обратно к карете, низко опустив голову, как будто боялся споткнуться о... века. Опыт первобытного ваяния соединял в сознании ученого континенты, эпохи, людей, которые мыслили, воспринимали мир почти одинаково, не ведая друг о друге.

Осталось неизвестным, исследовал ли Гумбольдт курьезное утверждение великого философа Канта, что именно в Оренбургских степях водятся короткохвостые люди.

4. Альфред Брэм

И опять магическая цепь нанизывает очередное звено цифровых совпадений в истории нашего города.

Именно в год посещения Троицка Гумбольдтом родился еще один всемирно известный зоолог, изучавший и наш край — Альфред Брэм. Его знаменитый трехтомник «Жизнь животных» переведен на многие языки, мира и наверняка имеется у многих троичан-книголюбов.

Изъездивший Африку, Европу, Америку, Сибирь немецкий путешественник в 1876 году навестил и наш, на стыке Азии и Европы, порубежный город, которому шел 133-й год. Брэм близко познакомился с неведомыми ему ранее татарами, башкирами, калмыками, киргиз-кайсаками и отчаянными оренбургскими казаками.

Удивили его и верблюды, не думал он, что «корабли пустыни» могут забираться так далеко на север.

После азиатской пыльной дороги сказочным русским чудом показался ему наш город. Его восхитили прямые квадраты улиц, двухэтажные особняки, украшенные затейливой деревянной резьбой, ажурные кованые решетки, ограды и парапеты... Величественное белокаменное здание гимназии, строгий Михайловский собор — «жемчужина в ожерелье троицких храмов» — в неповторимом ансамбле с Азиатским гостиным двором.

Бесчисленные заводики, маслобойни, паровые мельницы, шерстобитки... Неоглядный Меновой двор и чудо из чудес — буйный круговорот Троицкой ярмарки, где купцы со всего света...

И это лишь несколько ниточек, наиболее ярких человеческих судеб из клубка Троицкой истории.

Памяти Ильдара Гуйчина

Звезда Ильдара

(Очерк)

Все надо делать вовремя

Экклезиаст

Мир человеческий до обидного несовершенен. Часто мы не делаем то, что надо бы сделать сейчас, не медля, но спохватываемся слишком поздно, когда человека уже нет. И тогда еще больше понимаешь, как он был замечателен, как его надо было ценить и уважать, беречь, лелеять, но, увы, он уже в земле, и ему ничего не нужно.

Впервые увидел его на городском конкурсе современной песни. Он фотографировал поющих, но не всех подряд, как другие, а по какому-то только ему известному наитию именно тех, кто потом получал призовые места. Еще тогда я дивился его редкому эстетическому вкусу — фотокорр, а в вокале толк знает. Уж после он рассказывал, что долгое время пел в самодеятельности. В его репертуаре были и дивные неаполитанские песни, и старинные романсы, и песни народов мира, у него был приятный запоминавшийся лирический тенор.

Кинемеханика невольно сделала его киноманом, многие фильмы он знал наизусть, особенно «Великий Карузо» с феноменальным Марио Ланца, «Музыкальная история» с непревзойденным Сергеем Лемешевым, без ума был и от индийского киноактера Радж Капура, и судьба сделала ему редкий подарок. Ильдар не только превосходно исполнял

песни выдающегося индийца, но и неоднократно встречался с ним, запечатлел его на множестве фотографий и пользовался его уважением, даже получил приглашение в Индию, но поездка, конечно же, не состоялась.

Маленький, изящный татарин, скромный, даже застенчивый, неделовой, неприспособленный к нашей гладиаторской жизни, он, оставаясь фотокорреспондентом городской газеты, вымахал в талантливого, яркого фотомастера, журналиста, переснимавшего весь тогдашний бомонд весь цвет мирового кино: от Нонны Мордюковой до Бриджит Бордо, от Николая Крючкова до Владимира Высоцкого. У него тысячи редчайших снимков известнейших актеров, режиссеров, певцов, прочих знаменитостей на протяжении многих лет. Его знали, любили за бескорыстие, доброту и порядочность — самое ценное в человеке. Фотографии он им высылал аккуратно, ничего не требуя взамен кроме слов благодарности, известность он заработал, но ни на йоту не разбогател.

По-настоящему счастливым он был только там, в киномире. За последние тридцать лет своей жизни, Ильдар не пропустил ни одного международного кинофестиваля, разумеется, Московского, за границей бывать ему не пришлось. Приехав с одного кинофорума, он, экономя абсолютно на всем, собирал средства к следующей поездке.

Предельно увлеченный своей страстью он, видимо, был неудобен в семейной жизни и, считая себя виноватым, оставил жене все нажитое, кроме собственного костюма, фотоаппарата да множества своих заветных фоторабот, на которые можно было бы безбедно жить... Конечно «зеленый змей» не обошел и его стороной. в трудную минуту он забегал ко мне, краснея и заикаясь, просил одолжить, возвращал всегда и в срок. В долгу оставаться не любил.

Но однажды судьба посмеялась над его беспечной доверчивостью. Отдав семье квартиру, он ушел в полуразваленную хижину на окраине города — наследство умершей матери. В очередной отъезд на кинофорум, он временно пустил в дом кавказцев — базарных торговцев.

Многих удобств там не доставало, но телефонная розетка была... Предприимчивые квартиранты достали аппарат и сутками не прерывали связь со своей далекой родиной, а

приехавшему со столичного фестиваля Ильдару, веселому, полному впечатлений и планов, пришел счет на три миллиона денонмированных рублей. Судьба ударила по кошельку — из нищенской пенсии в уплату долга уходила ее пятая часть. Остался без жилья. Чтоб как-то выжить, печатался в газете «Вперед», но гонорары за уникальный материал не спасали, газета переживала нелегкие времена, Сгорел, сжег свое сердце, доживая последние годы в каморке, переделанной из школьного туалета под фотолабораторию. Директриса, добрая женщина, деньги за проживание не брала. А куда ему было деваться? Робкий, как гоголевский Акакий Акакиевич, он годами обивал пороги администрации, просил комнатенку: не отказывали, но и не давали... А просить кого-то, хотя бы из тех же областных журналистских бонз, где его хорошо знали, он постеснялся.

Новая беда нагрязнула — ослеп на оба глаза, но тут, как он грустно шутил, ему крупно повезло. На его счастье дельный врач-глазник из соседней республики обосновался в Троицке. Он-то и вернул Ильдару зрение. Уж как он был рад, со слезами на глазах рассказывал о своем возвращении в мир зрячих, забросил свою алюминиевую тросточку, с которой не расставался последнее время. Сердце его ликовало, надеялся, что снова может заняться любимым делом. Но денег опять не было, телефонный долг почти не убавился, жилье не обещали. Так доживал он в тесной комнатухе без окон. Будка киномеханика, в которой он провел лучшие годы своей жизни, была такая же тесная, но там было одно преимущество — маленькое окошечко в мир киноэкрана, где суежилась, рождалась и погибала придуманная и такая заманчивая, заставляющая забыть о себе, чужая жизнь. О своей жизни он заботился мало. И однажды в каникулы, когда в школе кроме него никого не было, остановилось сердце Ильдара, а на небе ярко вспыхнула его звезда — уникальные фотолики, ставшие вечной памятью несуетной жизни.

Матовая электричка

(Путинки)

1. Электра

«Знала ли дочь Океана и Тефиды, титанида Электра, что ее именем когда-нибудь назовут самодвижущуюся повозку на железном ходу, прицепят к ней десятка полтора других тележек и тем заменят канительнее гужевое хозяйство», — думал я, взбираясь по отвесным ступеням в вагон междугородней электрички. Это видно, не только удобный вид транспорта, но и место для общения, встреч, разгадывания кроссвордов, чтения газет, наслаждения музыкой бродячих музыкантов.

Мчась навстречу бешено вращающейся планете, пересекая множество силовых линий Земли, чувствуешь, как свежеет мозг, выветриваются из него залежалые нафталиновые мыслишки и заполняются впечатлениями от проносящихся мимо окон вечных и постоянно меняющихся пейзажей, от новых, доселе невиданных личностей, их историй, словечек и выражений.

2. Негоциантка

Кто часто ездит электричками, знает, что в последний вагон обычно загружаются купцы со своими тележками, неподъемными клетчатými сумками, картонными ящиками, баллонами с жидкостью — везут в областной центр, будто там этого не хватает. Но торговцы, ребята тёртые, нахрапистые, хваткие, видимо, знают, что делают. Их на мякине не проведешь.

Через два сиденья от нас, пыхкая и отдуваясь, плюхнулась на лавку толстолицая, крашенная под пшеничную солому негоциантка. Зычным, как у продавщиц пива голосом, она стала раздражать барабанные перепонки пассажиров, мешая утренней дреме.

Мой сосед, утонувший в уютном китайском пуховике, поморщился и завертел головой, подыскивая другое место.

— Подожди, — остановил я его, — хочешь фокус покажу?

— Ты что же, циркач? — недоверчиво глянул он на меня.

— Нет, просто гипнотизирую... иногда. Хочешь, чтобы она уснула?

— Да неплохо бы, спать, лярва, мешает. А не далековато ли?

— Расстояние роли не играет, — вырвалась у меня.

— Ну, валяй, — протянул он с сомнением.

Я прицелился в торговку долгим немигающим взглядом, для убедительности щелкнул пальцами и, сложив руки на груди, стал ждать, думая про себя: «А вдруг она не из той компании».

Через минуту торговка вдруг умолкла, пододвинула к себе одну из сумок, достала румяные обсыпные булочки, маленький кус колбасы и ошметок сыра... Когда все это исчезло, аккуратно свернула пустые кулечки, в блестящую крышку от термоса налила кофе — аромат достиг и наших ноздрей. На десерт достала апельсин величиной с два кулака и пакет с печеньем. Расправившись и с этим дополнительным пайком, она обмякла и мирно засопела, надвинув меховую шапку на глаза.

— Ну как фокус? — осведомился я у обескураженного попутчика.

— Д-да, ты настоящий колдун, прошептал он с трепетом, — первый раз в жизни такое вижу.

А я про себя подумал: «Психологию надо знать».

3. Цыганский десант

Предпоследний вагон — обычно малонаселённый, но всегда самый шумный. Молодые цыганки в юбках до полу, в непродуваемых шальях из козьего пуха, в дорогих дублин-

ках с выпущками и... в пляжных пластмассовых босоножках на шерстяные носки.

Преимущество летних тапочек в январский холодень озадачивает. То ли шик особый зимне-цыганский, то ли притягивает неизносимая прочность этого вида обуви, а может, просто цыганский целесообразный стимул: «Иди и сама себе заработай на сапоги!»

В цыганской семье дармоедов не бывает. Правда и дело там свое, национальное.

Вот здесь их девять и одна с замотанным в одеяло грудным младенцем или куклой (за всю дорогу ни одного писка).

В общем, если судить по-военному, то полное отделение с четко разграниченными функциями: одна гадает, другая подстраховывает, третья побирается, четвертая меняет, пятая продает, шестая сострадание к ребеночку вызывает, словом, у каждой своя специализация. Порой с ними несколько четырехлетних малят, стажировку проходят. Замурзанные, но неплохо одетые, заученно тянут пухленькие ручонки:

— Дай копеечку!

В одном вагоне с ними долго не просидишь. Дочери степей, они обычно рассаживаются вольготно и базлают своими гортанными кричалками на повышенных тонах. И не поймешь, то ли ругаются, то ли что-то рассказывают. Порой проskalзьывают слова СТС, Рен-ТВ, ТНТ. Видно, и они крепко телевизором повязаны. Ничего не поделаешь, цивилизация.

4. Овощ «икс»

Перешел в другой вагон — полумягкие дермантиновые сиденья и почти пусто, десятка полтора мирно беседующих пар. В самом центре фигура: пятнистый бушлат и свободно-раскованное словоизъявление: то ли после вчерашнего, то ли успел с утра причаститься. Форменную шапку с железнодорожным знаком мучает: то наденет, то снимет. По прерывистому монологу вроде как на работу едет от знакомой женщины. Если уж и ходок, то вид больно никчемный: ни бороды, ни усов, ни на голову волос. Через одно слово мат и все на букву «икс».

А я только настроился с мыслями собраться перед городским шумогаем, а он о своих похождениях по секрету на весь вагон верещит и верещит.

Возмутился я.

— Ты что выражаешься в общественном месте, — говорю, — а еще железнодорожник.

Он оторопел, заглох, а потом стал так ехидно оправдываться:

— Я же хрен говорю, а он, это огородное растение, в разговоре допускается.

И опять начал чрево вещать, сначала с этой приправой к жареному поросенку, а потом забылся, опять с «иксом».

Я опять его уел, мол, сколько можно, люди вокруг: женщины, девушки, а ты опять вместо овоща вон что говоришь.

Он свирепо глянул в мою сторону, напяливая шапку, рыкнул:

— Ну, ты меня достал!

Засучил рукава своего крокодильего бушлата, как бы готовясь к драке, а потом вдруг положил голову на лавку, спрятавшись от моего взора, натянул шапку на уши и продолжал скрипеть, добавляя к «иксам» уже другие изречения.

Ни один сопассажи́р не проронил ни слова, будто мы ехали в вагоне глухих. Мужчины уткнулись носами в газеты, женщины пялились в окна: то ли любовались видами, то ли своим отражением. Захотелось плюнуть с досады, да пол пожалел, он-то не виноват. Взял я свою поклажу да и переместился в другой вагон.

5. Матовые дивы

Примостился у окна. Светло, тепло, просторно, никто не мешает. Открыл дежурный бестселлер, только вчитался, напротив расположился вежливый, спросил не занято ли, похожий на студента престижного вуза, чернявый парень с правильным славянским лицом и умными глазами.

Не успел я с ним разговориться, рядом уселись три девушки лет по шестнадцати, запыхавшиеся, раздумывавшиеся. Одна в мини-юбке с прорезьями, две другие — в вытертых до белесых ниток потрепанных джинсах немислимой узости.

Натянуть такое шитво на довольно уже крутенькие формы без специального станка? Ну разве что двоим держать и троим надевать... «Так это ж сколько народу надо каждое утро задействовать», — сужу по-стариковски.

И вот, то ли нетерпимое воздействие порток, то ли отсутствие в словарном запасе обычных фраз, но только эта девичья, сидящая с нами впритык, стайка стала общаться меж собой на... сплошном мате. Из их юных прелестных, искусно подкрашенных губок, текла такая откровенная мерзость, что даже и тот железнодорожник, наверняка бы рот разинул.

Студент отрешенно смотрел в окно, иногда, при наиболее крепких оборотах, ухмылялся.

«Пропала Россия, всё, всё, — закрутилось в моей голове, — Россия сгилла, если такие ангельские создания, еще девочки, будущие матери земли нашей исторгают такие пакости, не стесняясь никого».

— Вы где-то учитесь? — справился я, когда отошла первая оторопь.

— Да-а, — с готовностью ответили они, — в училище, на кондитеров.

— И что у вас там вместе с кулинарией и сквернословие преподают?

— Нет, что вы, — усмеваются они.

— Ну, вот, я гожусь вам в дедушки, юноша — в кавалеры, неужели вам не стыдно при нас так изъясняться?

— А что тут такого? — удивленно приноднимают они свои крашенные бровки.

— Но это же омерзительная брань, похабщина, такие слова прежде всего вас самих оскорбляют. Вы и при матери так же поносите?

— Н-нет, — мнутя они.

— А вам кто-нибудь когда-нибудь говорил, что похабные слова, разврат, преступление в одном ряду стоят и ведут человека к духовной гибели, в конце концов губят и Россию?

— В училище нам такого не говорят, а дома родителям не до нас, — отговариваются проказницы виновато.

— Мат — проклятие! Не проклиняйте, — говорю им уже сквозь писк тормозов электрички. — Проклятие вернется и вас же накажет!

— Больше не будем, — улыбаются они, торопясь к выходу, извините!

Так хочется им верить. Господи! Спаси Россию!

Озеро над облаками

«Людам кажется, что они покоряют природу, на самом деле они только приспособливаются к ней».

Уж лучше хлеб с водою чем пирог с бедою, припомнил я слова бабушки Елизаветы, когда и меня пришибло горе незаживающее. Узнал и я, что солнце черным бывает и что плачут даже звезды.

Остались только фотографии, рукописи, россыпи стихов, её печальный портрет да намоленная прабабушкина икона.

Дальнейшая жизнь мне казалась бессмысленной, бесполезной и законченной. Но нашёлся близкий мне человек, по имени Сергей, опытный путешественник, который решил по-своему, по-экстремальному развеять моё непреходящее состояние, показать диковинную жизнь гор, нетронутые леса, удивить непуганым миром животных и рыб. Где он мог найти такое в наше время, я не знал, слабо верил, но покорно подчинился его уговорам.

День первый

И вот наша малютка «Окулина», за прыткость прозванная «бешеной табуреткой», загруженная под самый потолок рюкзаками, удочками и пассажирами карабкается к перевалу через Урал-тау.

Латанная-перелатанная, с опасными колдобинами, трасса запружена колоннами, дымящих на подъёме, огромных ящиков на резиновом ходу. Две бесконечных автомобиль-

ных змей в сизом угаре несутся в полуметре друг от друга. Обгон опасен и почти невозможен. С обеих сторон дорогу теснят изгрызенные морозами да ветрами отвесные кручи, исписанные по верху именами тщеславных смельчаков России. Подъем становится круче, движение замедляется. Ветер гуляет где-то на вершинах гор, а здесь в ущелье, вырубленном людьми, тихо. Вдыхаем горьковатый выхлопной чад, от которого кидает в дурноту.

Но вот и Атлян — самое удивительное место на перевале. Рельеф, расположение гор убеждают, что едешь вниз, а двигатель на третьей скорости не тянет, на второй — идет с натугой. Кто не знает здешнего чуда, приходят в ужас. Поспешно останавливаются и начинают лихорадочно копать в двигателе и только увидя, что машина катится назад, понимают — здесь крутой подъем, хитро замаскированный природой под спуск. Дорога, она тоже е характером и на шутки горазда.

Колонна дальнобойных «бурбухаек» наконец-то выдохлась, сошла на обочину, остановилась. Остывают перегревшиеся двигуны, водители перекуривают, и легковушки суматошно тесня друг друга вырываются в проран, мы вылетаем на свободную от дальнобойщиков трассу, открываем все окна и пьянеем от целебного горного воздуха, настоящего на пряных травах с терпким хвойным запахом.

* * *

В тесном салоне нас четверо. Три опытных путешественника, покорителя, горных вершин и я, для них просто «чайник». Впервой в горы угодила, неопытный, неприспособленный, со своими дурацкими вопросами и советами. Видно тот, кто умеет только чай пить. Да и чайник в поход теперь не берут — котелок удобнее. Поэтому молча кручу баранку и прислушиваюсь к умным разговорам.

Впервые узнаю, что Уральские горы растут на целых три сантиметра в сто лет, что сибирская плита, по которой мы взбираемся, подныривает под европейскую плиту, поднимает её. По их словам весь кич Европы, все немцы в конце концов когда-то прикочуют к нашему Каменному пояску, с реками и городами.

За спиной моего сиденья Ната, роскошное юное существо с русой косынькой и широко распахнутыми очами. В зеркало заднего вида люблюсь её прелестной улыбкой, стройным хрупким станом. Не укладывается в голове, но она уже в трехлетнем возрасте с папой и мамой поднялась на Чешковский хребет, под Миассом, а в четыре покорила Александровскую сопку под Златоустом. Потом были хребты Таганая, Уреньги, Зюраткуля. Теперь у неё обязанности повара, и ещё она потчует нас звуками своего чудного альтино, а песни ее совершенно в моём вкусе.

У местечка Берёзовый Мост свернули на белёсую, ещё не одетую в асфальт трассу и порулили к высоченной горепокатухе, укрытой ёршиком леса, напоминающей издали щетину бритоголового.

— Здесь всё Зюраткуль: и посёлок, и хребет, и то озеро, к которому мы подъезжаем, — подаёт голос Алёша, наш костровой, смотритель палатки и переводчик. — А Зюраткуль, по-башкирски, Озеро Сердце, — старается он для меня, свежего человека. — Его ещё переводят, как Лошадиное озеро; и как Зеркало, во что горы смотрятся, но, — тут он переходит на авторитетное помыкивание, — поскольку озеро расположено в самом центре южно-уральских гор, то лучшего топонима, чем «Сердце», быть не может.

— Ишь ты, — думаю про себя, — всё по полочкам разложил, профессор. И откуда только такие хлопцы берутся? Вроде та же улица, велосипед, лыжи, каратэ. Все увлечения-то по развитию конечностей, а тут оказывается и черепок на месте... Каштановолосый, с модной причёской — пробритый узор над ушами — твёрдый, задерживающийся взгляд густо-синих глаз — наш гид знал себе цену.

Ему ещё и пяти лет не было, а он с родителями уже на таганайской Круглице побывал, с Бараньими Лбами бодался, на Откликном Гребне эхо доставал. А через год уже на Яман-тау, высшей точке Южноуралья, записку оставил. Летом, когда его погодки в первый класс собирались, Алёша с родителями, ушёл на Саяны. Невероятно, но семилетний пацан прошёл по хребту Ергаки около десятка перевалов, поднялся на вершину горы Пиша, а это за две тысячи метров. Побывал на перевале Волосы Спящего Саяна, в

сказочном озере Горных Духов купался. Конечно, всегда рядом был отец Сергей.

* * *

Проехали хитрый домик. Поперек дороги шлагбаум — полосатая жердина. От неё веревка в форточку — местная автоматика. Верёвку отпускают, жердинка поднимается — путь свободен, проезжай, если заплатил. И вот за очередным поворотом внезапно открылась плоская гладь цвета булатного клинка, уходящая к далекому горизонту. Это и было легендарное озеро Зюраткуль.

Путевождь нашей экспедиции с хрустом потянулся, встряхнулся от дрёмы и, подтверждая свою феноменальную осведомленность, нарочито бесстрастным голосом стюарда воздушного лайнера извещил:

— Водоём на высоте 724 метра над уровнем моря, выше всех озер Урала. Мы находимся в краю уникальных реликтовых лиственниц и субальпийских лугов, — и пробурчал неразборчиво, видимо, только для меня, — берегите природу, мать вашу.

Приказал подрулить ближе к воде и разгрузаться, а сам побежал справиться насчет проката лодки. Ребят заинтересовал цвет камней у самого среза воды. Я выкарабкался из машины, размял затекшие мышцы и осмотрелся.

По желто-нарядному песчаному берегу сплошной вереницей отдыхали лодки, лоснясь просмоленными боками, похожие на диковинных морских зверей. Меж деревянных суденышек, коричневели ржавыми боками и железные, смахивающие на огромные галоши.

Царило временное безветрие. Штиль. Огромный глаз озера как бы присматривался к нам, не выказывая до поры своего норова. Береговая линия и в самом деле напоминала форму рисованного сердца и, как мне показалось, мы находились в большей её половине. Оклад противоположного берега еле просматривался сквозь восьмикилометровую призму сизой дымки. Только по очертаниям могучих хребтов Нургуша и Москаля угадывались крайние точки окоёма.

А над водной гладью буйствовали воздушные пираты — огромные чайки в тугих кипенно-белых одеяниях с серебри-

стым отливом, высмотрев добычу, плюхались с большой высоты, уходили под воду и выныривали уже с добычей в клюве. На нас птицы своего внимания не тратили, видно здешние жители им зла не причиняли.

Выгрузив вещи, я ополоснул лицо и выпил целую пригоршню зюраткульской сладковатой водички. Её приравнивают к байкальской, но по-моему, здешняя была вкуснее и чище, настоящая живая вода из сказки. Загрязнять её вроде бы некому. Современная цивилизация распозалась бережно, поодаль от озера. По взгорочку, пока ещё несмело, громоздились «лесные избы» с удобствами, финская баня, трактор, гостевой дом с проводниками, инструкторами, охраной и прочими дорогими удовольствиями.

А пониже, в берёзовом лесочке, запряталась деревушечка с голубыми, как здешнее небо, наличниками, со своими курортами, корово-козами, огородиками и баньками. Но и озеро тоже, видимо, кормило своих аборигенов и не только рыбой. У каждого способного хозяина прикованы к берегу по пяти-семи лодок разного фасона и размера. Хоть двухпарную, хоть среднюю, а то прогулочную, верткую, а хоть и железную, сварную, тяжелую, как утюг. На каждом суденышке номер, как на автомобиле. Бери хоть на неделю, хоть на две. Плата по совести.

Из-за дальнего хребта прикочевали низкие тучки, им тут невысоко. Озеро вмиг засвинцевело, зарябило. Расшевелилась, задышала волна, озорная, пузырястая. Она, то с шумом накатывалась на песок, то мирно убегала, оставляя на берегу ненужное озеру: пластмассовые бутылки, конфетные бумажки, окурки.

Вдали показалась плоскодонка с гребцом в красной анарачке — наш командор. Отогнали машину ко двору хозяина лодки, быстро загрузились и погребли искать место для ночлега. Пока нашли сухое место, километрах в восьми от пристани, у толстенной, в два охвата, лиственницы, пока палатку поставили, развели костер, поужинали — свечерело.

Перед сном вышли на бережок, полюбоваться озером. Постояли у могучей старушки-лиственницы. — Сколько же ей веков? — Вырвалось у меня, — поди ещё и Пугачева помнит, когда он здесь «играл в прятки» с генералом Михельсоном?

Ответом была тишина. Не та искусственная, городская, с шорохом: автошин, с визгом тормозов, с мертвенным неоновым освещением, а. — вечная, первозданная, со звоном комаров, уханьем филина, «буканьем» водяного быка.

Когда долго смотришь в озеро на отражение крупных самоцветных звезд, то забываешь, где находишься. Кажется, что ты не на земле, а где-то в пространстве.

День второй

Намотавшись за день, спали крепко. А когда купол палатки посветлел, где-то в вершине лиственницы, как выстрел хрустнул сучок и часто захлопали крыльями, будто кто-то старательно выбивал ковер. Все враз проснулись, и, толкаясь полезли к выходу. Суперсовременная, на молниях, палатка цвинькнула, и мы вылезли наружу.

В этот миг огненный полудиск солнца выглянул из-за горы Лукаш и нам представилась удивительная картина. Прямо над озером, цепляясь клочьями за камыш, плавали огромные плотные облака, похожие на кипы хлопка. Они любезно позволили себя потрогать, окунуть лицо и даже умыться. То была такая-то белесая взвесь, влага, неизвестная нами: еще не дождь, а мелкая водяная пыль, которая станет дождем. И когда огненный шар выпрыгнул из-за хребта, эта небесная застень вдруг оторвалась от воды, превратилась в плотный тугой комок с длинным носом и надолго уселась на вершину Нургуша и, как мне показалось, стала с любопытством наблюдать за нами.

После завтрака я переправил всю группу к подножью горы Лукаш, похожую на огромный курган, густо обросший кустарником и травой, а сам, накопав червей у корней упавшей березы, устроился в уютной заводи с удочкой, меж двух стен камыша. Но не успел я изловить и десяток окушков, как мои путешественники с противоположного берега затребовали перевоза. Как оказалось, вершина этой горы интересовала не только людей. На самой макушке в густом малиннике, лакомясь ягодами хозяин местных угодий, сам Михаил Топтыгин. Стоя в полный рост, он одной лапой прочесывал когтями ветки, отбирая, ягодки, чавкая со сладостным стоном, другой — отгонял

от морды надоедливых слепней. Им почему-то нравились мишкины уши.

Занятие так увлекло медведя, что он не обратил внимание на пришельцев, да и ветер, к счастью, дул от него.

Сергей, шедший первым, в ужасе остановился, его непокорная шевелюра приподняла вязаную шапочку — поверх изумрудной стены кустарника торчала, как пень, черная ушастая голова. Пришлось молча развернуться, и тихо скатиться вниз. До вершины оставалось всего-то метров двести, но кто знает, что на уме у этого лохматого Робин Гуда. Первое восхождение моих путеходцев сорвалось, но огорчений не было. Все радовались и показывали в лицах, как мишка ест малину, а у меня долго ещё леденела спина, при мысли, что могло случиться. Здесь законы природы остаются в силе. Мы спешно погрузились в ладью и отправились к своему кострищу.

После обеда оставалась уйма времени, и наш капитан решил сменить стоянку, чтоб посуше да подальше от гримас цивилизации. Здесь же место было шебутное, беспокойное, неподалеку проходила туристская тропа и с неё доносились зычные переделки навьюченных, как бухарские верблюды, походников.

И вот наш плоскодонный ковчег держит путь в самую дальнюю, южную оконечность озера. Ветер, главный распорядитель здешнего водяного царства, очнулся от послеобеденного сна, сердито прошелестел верхушками берез, полетел досмотреть свое допотопное хозяйство и заодно глянуть на новых пришельцев из породы двуногих. Для начала дунул в спину и пустил попутную волну. Причалили вблизи огромного, в сажень, горла трубы. Шумная горная речка, упакованная в железо перед самым впадением, одна из одиннадцати Кылов, вобрала в себя все многоголосие донных струй и с оглушающим рокотом выплескивалась на волю, растворяясь в ленивом теле озера.

Для пробы Алеша принес котелок горной воды грохочущего в трубе Малого Кыла. Мы пили и не могли напиться. Хрустальная, напоенная энергией каменных порогов, она удивляла своим пряным смолистым вкусом и показалась ещё вкуснее озерной. Пришлось Алеше принести ещё два пол-

ных котелка и мы занялись устройством новой стоянки. Меж двух сосен натянули несгораемый трос, на крючьях подвесили две посуды: для чая и для хлеба с тушенкой. Я было заикнулся сварить ушицу из окушков, но кэп смешливо прищурив глаза, процедил:

— Мы с утрянки идем покорять главную вершину Южного Урала, а после твоей ухи на первом же курумнике ноги протянешь.

Пришлось мне освободить пластмассовую бадью и засолить в ней пойманную рыбеху, жалко же выбрасывать. Правда, набралось только два слоя, но появилась цель — наловить целое ведро да дома высушить — это ж целое богатство, например к пиву да друзей позвать... Много было фантастических прожектов насчет экологически чистых окунчиков да чебачков, но обстоятельства нарушили все планы. Меня с некоторых пор стала преследовать мысль, что за нами доглядывает какая-то неведомая грозная сила и постоянно вмешивается в наши дела. Места-то были древние, колдовские. Кого только не заносило в эти края и мало кто уходил по-доброму.

День третий

Рассвет этого дня изумил даже бывалых моих спутников. Полное озеро серебра, от пронизанных солнцем светящихся облаков. Налетный тугокрылый ветрюган взъерошил сверкающее зеркало затона, играя зайчиками по теневой стороне берега, по темным стволам елей, по густой, веками некошенной пряной траве.

Наскоро позавтракав, нацепив громоздкие причиндалы на спины, ребята ушли на Большой Нургуш, что громадой в полнеба высился как будто совсем рядом. Я своим умком равнинного сидидама не представлял, какое можно испытывать удовольствие, прыгая по облизанным ветрами курумникам, рискуя сломать ноги, грузнуть в чавкающих болотцах, продирается сквозь колючие кустарники и вывороченные с корнями деревья. Но и это ещё не все. Идти-то надо сторожко, с опаской, чтоб не потревожить местных старожилов. А там кого только нет: и медведи, и лоси, и куницы, да на деревьях могут быть и эти пятнистые кошки с корот-

кими хвостами — рыси. А уж выше настоящая лысая тундра, где от бешеного ветра и уцепиться не за что.

В глубине лесного заборья в последний раз мелькнули красные куртки и я остался наедине с природой, а у неё свое представление.

В затишке, у больших камней торжественно звучит скрипичное скерцо комариного звона. Местные княгини — чайки после сытного обеда, прихорашиваются, перебирают клювами перья, покачиваются на волнах. Почти рядом с лодкой по блинам-лопушкам снуют две элегантные пичужечки в бежевых костюмчиках, белоснежных манишках и сереньких кепочках.

Они беспрестанно что-то достают из-под лопухов, деловито переговариваются на своем свиристящем наречии и согласнo, в такт, кивают головами. Никто из людей их, видно не забижал и живут они одним браком без разбегу до старости. Вот где стопроцентная неразводимость.

У людей все наоборот, хоть и считают они себя вершиной разума земной природы...

А может нам и не надо всей этой интернетно-компьютерной зауми. Мы и так уже дожили до безнадежности страшных карачаевских озер, близ «маяка» смерти, до трагедии деревни Муслумово, до слез сирот и матерей по всей полосе течинского радиоследа и далее вниз по Миассу, на берегах которого гнездятся, беспрерывно уплотняясь онкологические могилки. А у живой природы своя, параллельная цивилизация и, быть может, разумнее, чем человеческая.

Ветер вдруг стих, развернулся в обратную сторону, лишив меня прикрытия, и стал надоедливо качать лодку, как младенца в коляске, да и весь клёв сразу прекратился. Пришлось пересечь озеро и встать в затишек, под плотную стену камыша, а чтоб не сносило, подобрал я на берегу увесистую каменюку с зазубринами, похожую на первобытный топор, обвязал цепью и бросил с носа, подъякорился. Глянул на туристскую карту и обомлел — как раз напротив моего дрейфования располагалась стоянка людей каменного века. Именно здесь, рядом, нашли мастерскую по изготовлению мотыг, топоров, кварцитовых грузил с дырочками.. А обоюдоострые кинжалы из яшмы были так остры, что ими можно было бриться.

Россыпи таких ножей-бритв обнаруживали и по берегам прикаспийских рек. Видно у древних брадобреев изделия зюраткульских мастеров пользовались успехом. Находили там и обработанные палицы кремния, волшебного камня, возможно обитатели здешних урём первыми в мире открыли тайну черного камня.

Ещё в детстве, пацанами, мы наблюдали фокусы кремния. Тогда, после Отечественной, у нас в станице доживали свой век искалеченные войной фронтовики. Вечерами они усаживались на завалинке или на бревнах, доставали кисеты с забористым самосадам и, скрутив «козьи ножки» из газетной бумаги, долго высекали искру в клочки ваты, надерганных из старых фуфаек, раздували огонь и прикуривали по очереди. Спички в деревне были в то время большой роскошью.

А нас, огольцов, более всего интересовал сам процесс получения искры. Оказывается, если резко ударить обломком железяки по кресалу, черному камешку, то появлялась горящая звездочка. Особенно это было красиво в темноте, но разжечь костер у, нас обычно не хватало терпения.

Как ни, тяжел был каменный якорь, дно не удерживало груз. Дул настырный, неутихающий ветер, лодка изрядно парусила и её тащило в запутанное кружево щучьей травы. Открылся вид: наша ярко-зеленая палатка на фоне стерильно-белой стены: берез. Она невольно притягивала взгляд, но бояться здесь было некого.

Прохожие рюкзаки со своей ношей изредка промелькивали мимо, топоча бахилами по огромной трубе, из которой хлестал в озеро неиссякаемый Кыл.

* * *

Наедине с природой, вдали от упорядоченной человеческой жизни, чувствуешь себя безликим предметом, зависящим от ветра комариком, букашкой, ползущей по траве, затерянной и никому не знаемой. Повеяло какой-то грустью одиночества да и клевать перестало.

Как-то само собой получилось, достал я из глубокого кармана ярко-синюю, цвета весеннего неба, книжечку стихов и над притихшей ширью Зюраткуля зазвенело: «Земля некреп-

ко держит нас за крылья, но манят звон березовых лесов и хочется, чтоб не покрылось пылью шуршанье наших слабых голосов...»

Звуки стихов утихли, но эхо, оттолкнувшись от вековых замшелых лиственниц, долго ещё передавало дробь рифм нахмуренным белесым скалам, сквозило по ряби озера, и гасло, утонув в густых ковровых камышах.

Умолкло попугайное эхо, поутих ветер. Где-то рыдающим вдовьим голосом заныла иволга. У меня вдруг затерп безымянный палец, там, где носил обручальное кольцо, будто кто прикоснулся и навернулись слезы. Подумалось: может душа-то её здесь, рядом с нами. Она ж не даром писала: «Ты не ищи меня в могиле...»

Ей бы здесь всё понравилось. И щебетуньи-березки, что наговориться не могут, и полное озеро ключевой, камешки видно, воды, и такая ширь, что и простой смертный стихами заговорит. А она бы воспела этот край или рай на века. Но что там рай? Библейская легенда и только, а здесь такой простор, что кажется доступным состояние высшего блаженства. И всего-то в версте над механической суетой замороченного хлопотами люда в бетонных ульях, под нахлобученной кепкой мертвящего, сизого, как нос пьяницы, смога.

* * *

Светило-ярило пошло на поклон. Сижу на ширококоздой уютной корме. Под сиденьем белая бадья с рыбой в рассоле, берестой укрыта, сверху гнет — древнее рубило. С левой руки в прозрачной посудине из обрезанной канистры, добыча резвится, сердитые окуни друг друга гоняют. Справа консервная банка с красно-коричневыми, «под фашистов», червями. За бортом вихляются старые колготки, набитые прикормом. В руках чудо современной рыбалки спиннинг, длинное, диковинное для меня, телескопическое сооружение с катушкой, ручкой и трещоткой, но главное — леска, прочная и почти бесконечная.

А день кончался. Перед тем, как спрятаться за гору, солнышко уселось на вершину хребта Москаль и, насмешливо тараща лучи-усы, любовалось собою в зеркале озера.

Свернул я снасти, причалил, надрал бересты с поваленной березы, наломал сушенины, приготовил костер, осталось только спичкой чиркнуть. Зачерпнул котелком свежей водички и только присел на пенёк, как в прогалах берез замелькали куртки моих горников.

Впереди всех Наташа. Торопится, только косички в красных ленточках, как две морковки, подпрыгивают. Посередине Сергей с большегрузным рюкзаком ступает размеренно, экономно — профессиональный ходок. Замыкает шествие Алеша, опирается на суковатую посошину, пятку натер.

Сбросили заплечные свои ноши, расстегнулись, переобулись, блаженно растянулись на траве. Подал им по кружке ароматного травяного чая, и началось... Кто что видел, кого встретили, с кем чтостряслось.

— Дед, ты прикинь. На вершине Нургуша настоящая тундра, — первым вступает Алеша. — На камнях лишайники облезлые, а ветер такой сильный, не будешь цепляться за землю, снесет. Наташка даже поревела маленько, но до вершины добралась... почти ползком.

— Там ещё на камнях фамилии и названия городов. А на большом камне табличка, — грустно добавляет Наташа, — мальчик пропал, искали, так и не нашли.

— Ни следов, ни крови, — добавляет Сережа, — да это давно было, несколько лет назад. До сих пор неизвестно, куда он делся.

Долго искали и родители, и поисковики. У каждой горы свои тайны. Ну, а сегодня мы там удивительную женщину встретили, командор уводит разговор от грустного, — как раз на границе леса и тундры.

— Уж не снежная ли дама, — вступаю я с опаской.

— Что ты, — смеётся Сережа, — суперобразованная, кандидат наук, лет под сорок, загорела до, черноты, аж оторопь берет.

Пятый год ходит на Нургуш, чернику собирает, бруснику и не боится. Здесь уже вторую неделю обитает. По сотику с домом связь держит, а чтоб дозвониться, каждый день на вершину карабкается, полторы тысячи метров. Оттуда лучше берет. Отчаянная женщина..

— Ну, а как вы карабкались, — любопытствую я.

— Да как обычно. Сначала в болотце вязли, через бурелом продирались, а потом по курумнику с камня на камень, мимо кварцитовых останцов. Короче, там, как в сказочном царстве: столбы, стены, пирамиды, гребни, будто руины древнего города. Мороз, ветер за миллионы лет там такое натворили, хоть фантастику снимай...

Поспело варево. Только уселись ужинать, с реки — пулеметный треск катера. «Нацисты» пожаловали, охранники национального парка в пятнистых одеждах с короткоствольными помповками через плечо. Крикливые, нахальные приставучие, как лешие, деньгу собирают с дикарей. Но у нас все по чину: и документы, и квитанции — придраться не к чему. Для порядка пригрозили — дерево спилите — оштрафуем.

День четвёртый

Утром, едва посерело, осторожно, чтобы никого не разбудить, выбрался, из палатки и на рыбалку.

Середина августа, а на траве уже иней — ночью был настоящий мороз. В озере вода теплее воздуха, можно даже руки погреть, пар, как из кипящего котла. Подгрел к щучьей траве, закинул снасть, поплавок не шевелится, как приклеенный. Видно все еще спят: и рыбы, и насекомые, и птицы, и ветер. Тишина царственная, как в покоях самодержца.

С первыми лучами солнца зазююкали какие-то особые будильничные морозоустойчивые комары, из породы местных моржей. По воде враз пошли круги, водяное население стало пробуждаться. Я уж начал подозревать, что проснулись только вегетарианцы и хотел сменить насадку, как вдруг поплавок сразу, без подготовки скрылся и тут началось. Только закинешь., сразу клев, подсечка, и вот он, красавец-окунь, поболее ладони, успевай только червя насаживать. За каких-то полчаса в сетке стало тесно от добычи. Но вот один, довольно увесистый, согнул удилище в дугу, я резко дернул и перестарался. Растопыренный полосатый окунище перелетел через борт и булькнул в камышах. И сразу же, как по команде клев прекратился. А тут и с берега закричали: «Иди завтракать!»

На десерт командор разделил шоколадку. Обычай, оказывается есть такой — третий день похода отмечают.

Сполоснули посуду, упаковались и на новое место, к плотине, за восемь мокрых верст. С такого расстояния береговая линия не просматривалась и только хребет Зюраткуль скалился кварцитовым перламутром своего огромного тулова, похожего на лежащую навзничь девушку, стыдливо выставившую напоказ матовую пирамидку груди.

Южный погоняло-ветрюган дул в корму, да и гребец наш Серёга так налегал на весла, что они гнулись, грозя сломаться. Вода весело журчала за бортом, волны заметно отставали. Километры быстро сокращались и вскоре на горизонте показалась ровная полоска береговой черты — плотина с громадной заслонкой, регулировавшей подачу воды в реку Сатка.

На середине пути, там, где маячила многовековая царица-лиственница, показались из воды торчащие вершинки каких-то стволов и коряжистых веток угольного цвета. Командор наш, неспешно гребя рассказывал:

— Пока не вмешались люди, озеро было в два раза меньше, да и глубина была не более двух метров. В войну, в сорок втором, здесь решили сделать водохранилище, турбины поставить, чтоб ток получать. Народу работного хватало, целая трудовая армия. Те, кому не доверили винтовку а только кайло, грабарку да одноколесную тачку — изобретение каторжан. Скальными глыбами забутили основание, возвели заплот метров в десять и получилась плотина. Исполнили срочный приказ, наскоро захоронили тех, кто не выдержал мучений, а оставшихся бедолаг перебросили в другое место. Натеком речек, ключей, ручьёв и всякой мокрени эта каменная чаша быстро заполнилась, а на дне остались бараки и деревья. Их так и не спилили. То ли пил не заготовили, весь металл на танки шёл, то ли времени не было на валку леса. Немчура в то время: штурмовала Сталинград, а неспиленные лесины до сих пор маячат черными култышками из воды, вроде как помощи у людей просят, — закончил грустно комендор.

Наконец мы подошли к самой плотине. Прибой бесновался у самой подошвы, и пришлось искать какую-нибудь бухточку, защищенную от ветра. Царапая днищем осклизлые камни, причалили к довольно крутой насыпи, куда и высадились мои путники.

Шустро вскарабкались наверх и по ухоженной, устланной струганными плахами дорожке направились к хребту Зюраткуль. Прошли под диковинной аркой, украшенной фигурами медведей, рыб, трав, вырезанных из дерева, ну а далее надо было карабкаться на высоту более тысячи метров. Цель у ребят была конкретная: добраться до вершины и потрогать руками двух медвежат, сотворенных природой из кварцита. Я же, обреченный быть хранителем имущества и лабды, с тайной завистью глянул на уходящих, развернул свое суденышко и направился через все озеро к подножью Лукаша., где в затишье еле виднелись лодки рыбаков.

Южный, самый злой здесь ветер, внезапно усилился. Другим ветродуям здесь не хватало разгона. С востока акваторию озера, охраняла многоверстная хребтина Уреньги, с севера своим тылом давил хребет Магнитный, одетый в сплошные кустарники, с запада защемляла гребенка Большой Суки — горы Холодной. А с юга, как по гигантскому желобу, меж царственным Нургушем и выщербленным Москалем, прямым ходом с самого Каспия досаждал бесконечный караван южных ветров. По дороге они теряли тепло каракумских песков на берегах вертлявого Яик-Урала, грозной Сакмары и зажатого плитняками Уя, становились злыми и почти неутихающими.

Такой вот хулиган буйствовал и теперь. Чтобы подойти к побережью Лукаша, попробовал грести напрямую, вдоль волны, но когда бешеные от злости барашки хлестанули по коленям и появилась неуправляемая боковая качка, грозящая одним махом затопить лодку, я попробовал идти зигзагами. Здесь, меж Каменным мысом и Лукашом работала настоящая аэродинамическая труба, годная, наверно, и для испытания самолетов.

Несмотря на чрезмерные усилия — я, упираясь ногами в переборку, буквально висел на веслах — судно мое продвигалось на один-два метра, а при очередном замахе, его снова относило назад. Добившись колотья в левом боку, решил поддаться воле ветра и обогнуть мыс, который узким носом вытягивался к хребту и, возможно, когда-то и соединялся с ним.

Обрадовавшийся ветер легонько, как скорлупку, вытолкнул мою ладейку за каменную преграду и в сизовой дымке

открылось чудо — два настоящих, в натуральную величину, парусника эпохи Колумба. Две каравеллы с высокими бортами, мачтами, вантами, реями, клотиками и с характерными для того времени куцыми кормами. Над одним развивался черный пиратский флаг с черепом и скрещенными костями. Над другим понуро трепыхались два флага. Один — пиратский, другой — в шахматную клетку и с короной, похоже пленник.

подавив в себе соблазн приблизится к этой диковинной флотилии, невесть откуда появившейся в нашем, далеком от моря, краю да ещё и под самыми облаками, представил себе обратный путь на встречный бешеный ветер, да и время подходило к возврату моих путешественников.

* * *

Развернул я свою лайбу на месте — правая гребни, левая табань и погреб к плотине. Ветер на время поутих, видно завернул к кому-то в гости, и я довольно скоро явился к месту встречи. Ребята еще не пришли. Дай, думаю, искупаюсь. Грех не омыться в таком священном месте. К ужасу кучки туристов, зябнущих под балдахинном беседки, разделся на свежем ветерочке, сложил на корме одежонку и кинулся в кипящую прибойную волну.

Вода была теплее воздуха, мягкая, ласковая, слегка оранжевая от шелковистого ила. Им в древности будто лечились аборигены. Они, видно в чем-то, были мудрее нас да и с мирозданьем были в ладу. Покатался я на крутой волне, освежился, а вскоре и путники мои возвратились. Несмотря на долгий переход, весёлые и восторженные, Алеша и Наташа, перебивая друг друга, рассказывали о неопикуемых видах на все окружающие хребты и на озеро, и на поселок «Магнетит», но всех больше им понравилась тропа., мощная досками, такого в их горной практике еще не встречалось.

Но и я в долгу не остался, когда рассказал о пиратских кораблях за Каменным мысом. Они враз онемели и сразу же захотели их увидеть, но капитан наш распорядился по своему:

— Сначала устроим стоянку, костер, ужин и если успеем до темна, то глянем и на корсаров.

И куда делась усталость! Заполыхал костер, закипела вода, вкусно запахло тушённой, и уже через час, в надвигающихся сумерках они на лодке пошли глянуть хоть издали на заморские чудеса.

Я остался караулить становище. Смерклось. Выяснились какие-то особенно крупные, сроду таких не видывал, притягивающие звезды, от которых трудно было отвести взгляд. Раскатываясь дребезжащим эхом, затарахтел катерок охранников, распугивая дрему — поехали ужинать. Пряный, обволакивающий теплом воздух, стал вытесняться липким запахом сырости, чем-то тленным, жалостливо вечным, утерянный навсегда и оставшимся, видимо, только здесь, в древнем горном озере.

Но вот на той стороне заушал филин, ему ответил трещоткой коростель. Заскрипели ключины, зашуршала галька, от причалившей лодки. Полусонные плователи доложили: «В темноте кораблей не видно, только силуэты, зря сплавали. Завтра и посмотрим.

День пятый

Всех разбудил раскатистый, усиленный горным эхом, гром где-то за Каменным мысом. В рассветном сумраче было видно, как заколыхался верх палатки под напором крепкого южака и по натянутой ткани застрекотали так теперь нежелательные увесистые капли. Предвидя, что грести придется под дождем и сильным ветром, я предложил вернуть лодку хозяевам, пересечь на. «Окушку» и добираться до эскадры колесным ходом. Ребята враз «заукали» им плавать еще не надоело, да и командор наш был непререкаем, как Наполеон перед походом на Москву. Оставшись в меньшинстве, один против всей честной компании, кряхтя и бурча себе под нос, вылез наружу.

Кострище было подмочено, ветер бесновался в кронах деревьев, озерный Дух выказывал свое недовольство. Сложив срубиком напиленную с вечера сушину и надрыв бересты, распалил костерок, доказав, что и «чайники» на что-то годны, правда опалил усы.

На запах дыма повылезали заспанные ночевальщики. Позавтракали овсянкой с последней банкой тушёнки, по-

грузились в лодку и пошли к Каменному мысу, за которым нас ждали притягательные каравеллы.

* * *

Ветер утих или затаился и только слегка рябил воду. Выглянуло умытое дождичком светило, тучки убежали за Нургуш и команда наша повеселела. Наташа запела., какую-то морскую песенку .Легко обогнули каменное ожерелье, высунувшееся далеко в озеро, и через мгновение открылась картина времен средневековой инквизиции и открытий Христофора Колумба — два летучих красавца цвета золотого воска на темно-зеленом бархате хвои. На пузатых бортах крупно черным инкрустация «Зюраткуль». На центральной мачте нахально полощется черный флаг, а рядом, носом к пристани, судно поменьше, с обрубком кормы, фасон четырнадцатого века и надпись «Валентина» вроде, как пленница. На реях огромные куклы-корсары в тельняшках и в нерусских уборах с помпончиками. За широкими поясами кривые сабли, кинжалы, длинноствольные пистолеты, по бортам глазастые жерла литых пушек.

Причалили, втиснулись меж прикованных лодчонок, неподалеку от таинственных морских пришельцев. Плату за осмотр не брали, мол, достроим тогда. Такое известие нас обрадовало. Значит, люда добрые, не жлобы.

Всей стройкой управлял настоящий дядька Черномор, огромная черная борода и тюркский разрез глаз. Он сидел на пристани, почему-то в огромных санях, держал на коленях чертеж размером с дверь и зычным надтреснутым баритоном подавал команды нескольким иссиня-черным, разбойного вида, гастарбайтерам в рваных рубахах.

Старшой, видно, знал дело, работа шла споро. Вверху, на лесах, блестя лоснящимися от пота телесами, два каменщика выкладывали огромное круглое окно, похоже, иллюминатор. Сзади них шустрый малый, ловко управляясь с блоком, поднимал раствор и кирпичи, которые вперегонки на тачках подвозили два. татуированных молодца, головы, как у истых пиратов, обвязаны пестрыми тряпками.

Мы беспрепятственно облазили весь пиратский «Зюраткуль» от трюма до капитанского мостика, потрогали пушки,

покрутили штурвал, поглазели на запертый рундук с «сокровищами» и сбежали на берег, потрясенные увиденным. Все напоминало романтику острова Сокровищ. Но и на суше нас ожидали чудеса сказочные.

* * *

Среди высоченных сосен стояла настоящая просторная изба на курьих ногах слоновьего размера. Двери избушки распахнуты. Над верхним косяком, в гамаке, покачивается сама хозяйка — Баба-Яга, рядом именное транспортное средство — деревянная ступа с метлой. Позади избушки просторная, похожая на сарай,

хибара Кащея Бессмертного. Крыша состояла из вывернутых с комлями деревьев. Корни, похожие то ли на усы, то ли на гигантских змей устрашающе свисали до самой земли. Кособокое окно, сбочь двери, поблескивало мутной, похожей на бычий пузырь, пленкой. Бесстрашная Наташа с ходу заскочила в избушку Бабы-Яги, а в Кащееву хижину побоялась. Там, в зеве перекошенной двери белели черепа на солеме. Под потолком на цепях висел, покачиваясь окованный пластинами черный сундук, тот самый, где хранились заяц, утка и игла, на кончике которой и покоилось мнимое бессмертие бессмертного старца.

На задах этих сказочных карательных органов высился «Постоялый дворъ», как мы прочитали на чугунной вывеске. Непрístupные ворота с приклепанными круглыми русскими щитами располагались в центре. По верху высоченных, в три сажени стен, остря копий. Внутри прямоугольное строение из толстенных плах с бойницами для стрельбы. На острых шпилях крыш — треугольные флажки. Все походило более на укрепленный сторожок, чем на пристань для проезжих. Сквозь боковые воротца из толстой решетки просматривалось убранство диковинной крепостцы.

Внизу просторные столы с лавками для трапез. Резные чаши, братины в форме двуглавой гусыни. Во втором ярусе по стенам боевые топоры с длинными ручками, алебарды, копыя, мечи, луки в саадаках, колчаны полные стрел. Отдельно щиты: круглые, прямоугольные, овальные. Далее, на полках, метательное оружие: дротики, пращи. В парадном

углу, на блестящей цепочке сторожевой рог, на пристенке гусли, свирели, рожки. И всё это не игрушечное, бутафорское, а вполне пригодное и для праздника, и для сражения.

Напротив острожка, за ажурной вороненой решёткой из чугуна, дивный дворец малахитового цвета с террариумами, клетками, аквариумами. На роскошных газонах в натуральную величину фигуры лосей, оленей, косуль. На развилках сосен медвежата, рыси. На высоких шестах с перекладинами чучела птиц, обитающих в здешних уремах.

По берегу, по обеим сторонам от пристани, как линейные воины, русские богатыри в остроконечных шлемах, кольчугах, в полном вооружении, вытесанные из дерев, числом тридцать три.

На бугре, за цепочкой воинов, ветряная мельница, рядом тощий как стелька, на кляче Дон Кихот с длиннющим копьем. Неподалеку бочкообразный Санчо Панса в хламиде, на коняжке, похожий на козу.

— Сколько же государственных денежек втюхали в эту сказку, — вырвалось у меня.

— А ни копейки, — откликнулся Серега, ероша своя смоляные вихры, — все на частные средства. Тут, неподалеку городок есть на букву С. там и проживает этот шальной предприниматель.

Говорят, что хлебнул он в жизни всего: и сиротской голодной житухи, и бродяжничал, и за решеткой побывал. А однажды дал себе зарок: по выходе на волю сделать для детей сказочный город, невиданной доселе красоты. И вот призрачная мечта этого упорного чудака сбывается.

Наконец мы вернулись к своему утлому суденышку, ошеломленные и голодные. Время катилось к полудню, а надо было ещё обогнуть коварный Каменный мыс, перегрузиться в машину и засветло добраться домой.

Когда наша шумная бригада с гамом усаживалась в лодку, неподалеку отчалило суденышко поменее нашего, с экипажем из трех человек. Упитанная дошкольница, дама цыганистого вида с большой косой, в ярком — золото с тюльпанами — платье. Опекал их стройный, смахивающий на йога своей худобой, чужеземец с косичкой. Через плечо сумка черного бархата, утыканная сотнями значков.

Сравнив этого коллекционера с нашим атлетом Серегой, я тогда еще подивился его хилости, а грести надо было добрый десяток вёрст. Непостоянная здешняя погодка, конечно, же испортилась. Ветрюган, подремав где-то на дальней вершине Дувана, пока мы любовались чудесами, решил, видимо, по-размяться, растратить свою необузданную силушку.

Выйдя из укромной бухточки, защищенной пирсом и каравеллами и повернув на восемь румбов зюйд-зюйд, как бы выразились морские волки, наша перегруженная байда враз ощутила силу большого ветра. Беспощадные волны сразу же стали пытаться перепрыгнуть через низко сидящие борта.

Вёслами, как всегда, распоряжался командор. Он решил не уходить далеко от берега и повел лодку почти по самой кромке прибоя. Здесь волна была слабее, а впереди уже маячил Каменный мыс своими тремя уцелевшими соснами.

Нам показалось нелепым и даже опасным, что йог со своей семьей, плывший за нами, вдруг круто забрал влево и стал уходить от берега, удлиняя себе путь. — Городской, — подумал я, — он и лодку-то, наверное впервой видит.

Мне с кормы хорошо было видно, как они, выйдя на просторную крутую волну, с трудом продвигались вперед. Порой видны были только их головы и я стал бояться за их жизни. Но вот накатывала очередная волна, и лодчонка снова выпрыгивала на самый её гребень. Казалось, что они на волоске от гибели, у меня невольно сжималось сердце, но вскоре свои неожиданные трудности полностью отсекали внимание от соседних выплывальщиков.

Мы подошли почти к самому повороту, к тому проклятому узкому месту меж хребтом и носом. Волны с остервенением выплевывая кипящую пену, держали лодку почти на одном месте, грозя захлестнуть её одним ударом или даже перевернуть.

Испугавшись за ребят, вряд ли умеющих хорошо плавать, я стал кричать Сергею, чтобы он чалил к берегу. Но то ли встречный ветер своим свистом не давал слышать мои слова, то ли наш командор, сидя спиной к волнам, не чувствовал опасности, он продолжал, выбиваясь из сил, грести вдоль берега. С каждым взмахом весел мы продвигались не более, чем на полметра, волна становилась всё круче, а впе-

реди был коварный мыс, лодка перегружена, и все были тепло одеты. Я опять стал кричать и размахивать руками, на этот раз капитан понял меня и повернул к берегу. Прибой холодным душем хлестанул по всей длине нашего ялика, всех умыл и налил воды в лодку по самую щиколотку.

Наскоро выбросав рюкзаки и сумки на траву и ссадив ребят, командор решил, подобно Гулливеру в стране лилипутов, протащить лодку на цепи через самое остервенелое место, выдающийся нос Каменного мыса.

В кроссовках, в походных брюках, анарачке он зашагнул в кипящие буруны, перекинул цепь через плечо и, накрываясь почти до самой волны, потащил наш «крейсер» к бьющей стрелке. Сквозь свист ветра я кричал ему, чтобы он оттолкнул лодку от берега и позволил мне плыть самостоятельно, так как за поворотом волна будет бить прямо в борт и может затопить лодку. Но он, видимо, не надеялся, что у меня хватит силы да просто не слышал, продолжая, как настоящий бурлачина, скользя и спотыкаясь, тащить лодку и, порой лишь натянутая цепь удерживала его от падения. Наконец, мы поравнялись с гребнем мыса и Серега, оглябая эту древнюю каменную загогулину, повернул вправо, перпендикулярно ветру.

Далее произошло что-то невероятное. Какая-то дикая сила вышвырнула лодку вместе со мной на прибрежные камни и первым же залпом накрыла её до краёв, в один миг я оказался по плечи в стылой воде, а затем нашу полную с верхом посудину, как перышко подкинуло вверх и выбросило на камни метра на три. А затем стало с остервенением бить о валуны, грозя разнести нашу посудину в щепки. Сережа, чавкая кроссовками, умчался к ребятам, а я остался с главным баснотворцем этого древнего края.

Чем-то не угодили хозяину сих мест, горному ли озерному духу. То ли своим легкомыслием, то ли достаточного почтения не изъявили к его сану, не задобрили, не одарили и теперь он требовал жертвоприношения.

Надо было искать выхода из в общем-то дурацкого положения. В каких-то двух верстах роскошествовала современная цивилизация с виллами, «мерсами», иностранными туристами, прислужниками, а здесь только мы с плоскодон-

кой и беспощадная стихия. Пока волны не разбили лодчонку, надо было выкручиваться.

Первым делом снял джинсовку с документами, замотал ее в камень и откинул на сухие валуны. Нашарил консервную банку и стал вычерпывать воду, но сразу понял — закончу едва ли к вечеру. Выход был только один, нежелательный, убыточный, но другого не было.

Достал из-под сиденья белую ладью, полную засоленной рыбы, переложенную пряными травами, запечатанную берестой — улов всех дней и выбросил за борт, в набежавшую волну. Бадья — не консервная банка, подалось сразу, обнажились сиденья, показалось дно. Захекавшись, решил передохнуть, но не успел отдышаться, как хлестанул какой-то черный вал, светящийся изнутри и снова до краев наполнил лодку. Я снова кинулся вычерпывать и опять, как только обнажалось дно, подходила какая-то необычно высокая хлябина и одним махом заполняла лодку.

Не переставая черпать, стал считать валы, чтобы понять закономерность подхода этой страшной волны и она обнаружилась. Подтвердился факт, запечатленный великим Айвазовским. Законы океана действовали и на озере. Именно девятый вал, а не десятый, не восьмой, был самым высоким и сокрушающим.

Конечно, ему было далеко до гигантской водяной горы знаменитого «Девятого вала», но пенящаяся по гребню волна на фоне яркого светила, околдовывала жуткой дрожью. Лучи пронизывали буйную толщу воды, гипнотизируя кипением искрящихся красок то зеленых, то синих, то фиолетовых. Грозная беспощадная стихия, быть может вечный дух озера Сердца, его защитник, показывал нам, двуногим пришельцам, возомнившим себя владыками мира, свою сокрушающую мощь и как бы ненароком проверял нас, на что мы годны.

Только успел я вычерпать очередную порцию «девятого вала», появился капитан, озадаченный и стремительный. От его одежды шел пар, на лице блуждающая вымученная улыбка. Пока я вычерпывал лодки, он с ребятами успел по валунам перетаскать все вещи на тропу, до которой было не меньше километра.

А ветер стал еще злее. К хлестким выстрелам очередной волны о каменный обрыв, добавилось какое-то завывание, похожее на камлание шамана.

Видя, что Сережа остановился в раздумье, я поспешил со своим рискованным предложением, зная, что если он примет решение, его не переубедить.

— Помоги мне поставить лодку носом к волне и оттолкни от берега, — попробовал ему приказать.

— А справишься? — протянул он с сомнением.

Боясь, что он передумает, я выскочил на камни и, чавкая разбухшими ботинками, попытался приподнять нос лодки. Он подскочил и, демонстрируя свою медвежью силу, легко повернул плоскодонку носом в озеро и удерживал, пока я не уселся за весла. Войдя по пояс в бурлящую влагу, командор с силой воткнул ялик в накатывающуюся черную волну.

Безкилевое наше суденышко не могло разрезать вал и попыталось взобраться на него, став почти вертикально. Упершись подошвами в перекладину днища, я на долю секунды ощутил чью-то живую неподатливую силу. Подумалось, что это нечто сейчас отбросит лодку на камни и произойдет непоправимое, но в следующий миг нос круто полетел вниз, я упал на сиденье. Если б не упругость упертых в толщу воды весел, мог бы вылететь за борт.

Первая, самая коварная волна приборя прошла и пока злыдень не одумался я изо всех сил старался подалее уйти от опасного берега. Идти следовало строго на ветер и только на середине озера, мгновенно развернувшись, под углом править к берегу.

Детство, проведенное на речке, в дедовской плоскодонке, даром не прошло. Мне как будто кто подсказывал, как уйти от опасности. Чем далее уходил я от берега, тем лодка шла быстрее, а на смену опасной короткой волне пришла длинная.

Плоскодонку то выбрасывало на самую вершину водяной горы и тогда виден был отороченный пеной шлейф приборя, подмытые корни сосен, цветистая горстка глазающих туристов и три красные точки — мои спутники, бредущие по суше, то бросало в глубокую яму, из которой видна была только взлохмаченная седина облаков.

Хотя грёб с предельным напряжением, усталости не чувствовал: то ли был в шоке, то ли целебная сила озера подпитывала. Тело было горячим, даже тельняшка просохла. Какая-то бесшабашная уверенность вселилась, страх ушёл перед водяными кручами, и я решил рискнуть, пошел не зигзагами, а напрямую по длине волны и сразу же чуть не поплатился.

Оказавшись в продольной яме, моя посудина накренилась в сторону приближающегося вала, я глянул и похолодел от ужаса. Многотонный гребень волны в человеческий рост навис над всей длиной лодки и, надламываясь в середине, уже летел вниз. Выручила мгновенная реакция. В самый последний момент удалось поставить лодку поперек волны. Корма успела уйти от вала, но на нос обрушились ведра два отрезвляющей жидкости, снова выкупав меня с головы до ног.

Вычерпывать воду было опасно да и до пристани рукой подать, различались уже фигурки людей. И я пошел наискось, под опасным углом, не обращая внимания на бунтующую стихию, а это был настоящий шторм. Сама собой вдруг пошла песня. «Врагу не сдается наш гордый «Варяг»... гремело из простуженной глотки...

Когда проходил мимо кучки туристов, услышал какие-то хлопки и крики «Браво!» и лишь причалив к радостной своей команде, понял, что то были аплодисменты. Отжали одежду, переоблокались в сухое, забрались в свою «Окушку», она весело хрюкнула и сразу завелась, натосковалась. Простились с озером и домой с песнями.

Вот так и закончилась наша пятисуточная «одиссея», знакомство с озером горных духов, в самом сердце Южного Урала.

Ну и на посошок... Когда я, коченея на ветру в мокрой одежде, безуспешно пытался развязать узел полиэтиленового мешка, чтобы достать сухую тельняшку, подошла Наташа и выдохнула своими прелестными губками: «Это делают вот так». Она закрутила конец жгута, и узел легко развязался. Я мастер высшей квалификации, сорок лет отработал в экспериментальном производстве, был посрамлен и кем... девочкой; которой не исполнилось ещё и восьми лет. Да и Алёше, любителю рискованных ситуаций, шёл только двенадцатый год.

Август 2007 года.

Содержание

От автора	4
Ветеран Куликовской битвы	5
Чудные дровосеки	10
Песенка герцога	13
Склероз	16
Пипочка	17
Глухонемые дети лейтенанта Шмидта	19
Брат жены	21
Мишин душ	23
Коза и бананы	25
Сексот	27
Фира	29
Нездешний	31
Почему я уважаю негров	32
Рекордсмен	34
Часовая терапия	35
На съезде	37
Грузины	38
Дипломатия и коммерция	40
Надысь	42
Баба Люба — трактористка	44
Звездынька	46
Крест Иванушки	50
Ненаглядная моя Кочерыжка	53
Клятва Гиппократы	58
Афганец	61
Танкист с Колымы	63

Танковый десантник	66
Генералиссимус	71
Караван и шакалы	74
Курящий бог	76
Миг свободы	80
Мармеладов нашего времени	84
Пытка	86
Тройной взгляд	90
«Ветеран»	91
Цена жизни	92
«Садисты»	94
«Цезари» за рулём	96
Брутто-нетто	97
Факсимиле	99
В автобусе	101
Поторопился	103
Клопотно	104
Двойной каледарь	105
Профессионалы	107
Магические зеркала	110
Экстрасенс	112
В канун Рождества	115
Супердед	119
Женихи	121
Птицы и люди	122
Политическое убежище	124
Римский папа и боярьшник	125
Высший пилотаж	126
Собачий нюанс	129
Гусь	133
Корифан	135
Троицк, великие путешественники и удивительные совпадения	139
Звезда Ильдара	145
Матовая электричка	148
Озеро над облаками	153

Хрипко Павел Дмитриевич

Засписки часовщика

Рассказы и очерки

Художник *Е.П. Семенец*

Верстка *В. Б. Феркель*

Засписки часовщика

Рассказы и очерки

Сдано в набор 11.03.08 г. Подписано в печать 04.05.08 г.

Гарнитура Петербург. Бумага офсетная.

Формат 84 × 108/32. Объем 9,45 усл.-печ. л.

Заказ № 79.

Тираж 300 экз.

Издательство «Цицero»
454080, г. Челябинск, Свердловский пр., 60.

Отпечатано в типографии
ООО «ТиражСервис»
454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 179.